

Андрей ЦУНСКИЙ

г. Петрозаводск



# РЫЦАРИ

повесть

Витольду Пыркошу

*Маленькое предуведомление*

*Один популярный художник  
(не скажу что из моих любимых)  
штукатурил холсты размером  
с дом и потом изображал  
на них чуть ли не всех героев разных эпох.*

*Кого-то было легко узнать,  
кто-то оставался неузнанным  
или был прописан слишком мелко.  
Специально для выставок выпустили  
каталоги — в них были напечатаны схемы,  
где каждая фигурка обозначалась циферкой,  
а внизу — список.*

*И уж тогда посетитель не ошибался,  
кто где изображен, впрочем, часто  
недоумевая, зачем и почему в таком виде.  
Если бы «Рыцари» были картиной, они бы,  
к счастью, столько места не занимали.*

*Но вот некоторые персонажи  
очень напоминают реальных людей,  
вплоть до внешних черт  
и биографических подробностей.  
И все же я не хочу рисовать для зрителя  
схему со списком.*

*И тому есть несколько причин.  
У некоторых персонажей есть  
совершенно реальные прототипы,  
их узнать легко, и не нужно ставить  
на них никаких циферок и номеров.*

*Кто знает, кому принадлежала  
скрипка Гварнери, доставшаяся от Энеску, —  
очень хорошо.*

*А кто не знает —  
пусть постарается узнать сам.  
Зачем красть у читателя возможность  
делать открытия самостоятельно?..*

*Есть персонажи вымышленные.*

*Что о них скажешь?  
Как пронумеровать их и что писать  
в справке для нелюбопытных?  
«Фантазия автора»?*

*Полагаю, у читателя  
фантазии предостаточно и своей.  
А как быть с теми, кто немного похож  
на реальных людей,  
но в пространстве и временах повести  
вел себя самым неприятным образом?*

*Кого автор,  
не имея в виду конкретных людей,  
а только похожих на каких-то других,  
оказавшихся в этом  
сплетении литературных персонажей,  
для того чтобы повесть не развалилась,  
заставлял делать некрасивые вещи?*

*Представьте себе, напишу я в сноске:  
«Герой № 6 похож на господина такого-то,  
но на самом деле только похож,  
но это ни в коем случае не он»?*

*Нет уж, увольте. Это не газетный очерк  
и не пособие по истории музыки.*

*А вот музыка вся — подлинная,  
ее можно услышать, она добавит  
читателю нужное настроение.*

*Раскрою только одну тайну —  
кто таков Витольд Пыркош.  
Смотрели фильмы «Ва-банк» и «Ва-банк-2»?*

*Был там такой Датчанин, помните?  
Вот Витольд Пыркош играл его.*

*И мне кажется, что  
главного героя «Рыцарей» лучше всех  
мог бы сыграть именно он,  
таким он мне представляется внешне.*

*А остальное — поймет каждый,  
у кого хоть немного зрячая душа.*

*С искренним уважением  
к пытливому читателю  
и пожеланием к нему —  
слушать больше хорошей музыки,*

*ваш А. Ц.*

Даже в Париже можно оказаться в очереди. Конечно, есть важные господа, которые могут не тратить времени и «не ронять своего достоинства» — а послать вместо себя кого-то, например курьера или секретаря. Но в очередь, о которой ведется речь, секретарей и прислугу посылают только те, у кого тугой кошелек и такое же тугое ухо. Главный концертный зал великого города смеется над такими всеми своими креслами! Выбор мест очень невелик, самые лучшие всегда будут заняты людьми, принадлежащими к элите из элит — людям с самым тонким в Париже, да и не только в Париже, слухом. Эти места будут резервированы для особых гостей всезнающими администраторами. Ох, и хлопотная же эта «элитная» публика! В дни выступлений Рыцаря в одном из самых прославленных залов Европы собираются композиторы, дирижеры, исполнители, критики. И сколько между ними бывает ненависти и неприязни, обид и капризов, и это даже если не брать в расчет издревле присущую этому нервному цеху ревность! Тут они черпают прямо из воздуха аргументы для теоретических баталий и хриплых споров о форме! Так что кому и где достанутся кресла, кто рядом с кем окажется, столкнется в проходе или гардеробе... — ох, тонкая работа, и очень даже опасная, у тех, кто раскладывает в конверты билеты — эти конверты доставят людям, определяющим звучание нашего грешного мира!

Напрасно какой-нибудь месть министр или депутат будет пытаться подкупить администратора, умоляя устроить два места поближе к \*\*\*. Не выйдет!

Президент, премьер-министр, равные им по рангу гости из других стран и даже прибывшие с визитом августейшие особы оказываются здесь в самой красивой и не самой лучшей для прослушивания ложе. Эта ложа придумана для того, чтобы показать, кто почтил событие вниманием, не забывая о том, что у этих сильнейших мира сего могут оказаться нежные и восприимчивые к музыке уши. Заметим, однако, что такое случается редко.

Но и у оставшихся в зале мест, на которые можно купить обыкновенные (хотя и весьма дорогие) билеты в кассе, тоже есть свои особенности. И здесь кому-то важно, с кем рядом можно оказаться, кто-то желает уютно приту-

литься там, где ему никто и ничто не помешает, кому-то важно «показаться», а кому-то — остаться незамеченным... Но их пожелания учтены не будут! Администраторы демонстративно неподкупны, кассир даже не смотрит на лица жаждущих желанных мест в партере, капельдинер царственно сопровождает в ложу или к креслу персон, известных всему миру, но делает это с равнодушием, достойным воспитанного породистого пса.

Заметим, однако, что здание построил когда-то гений, щедрый и понимающий больше холерных ливрейных служителей и темных барышников. Лучший звук — в пятом, шестом, седьмом рядах и на самом верху. Публика там помоложе, хотя и семидесятилетний старик может там с азартом ждать, когда же, наконец, рассядутся все эти миллионы, караты и ордена внизу и прозвучит, наконец, третий звонок...

И вот такой почтенного возраста человек, впрочем, не из бедных, хотя теперь это не сразу и разглядишь, довольно наблюдал за тем, как разбрелись недовольные, после того как окошко кассы захлопнулось. Темные личности, готовые «помочь» невезучим за многократно вздутую плату, оживились, и кое-кто, в сердцах выругавшись, уже выложил им изрядные суммы. Многие еще мялись и прикидывали, во сколько других радостей, менее изысканных, но ежедневно необходимых, обойдется им «помощь» барышника. Остальные вздыхали и спускались по каменным ступеням на тротуар, где растворялись в быстротекущем городском *perpetuum mobile*.

И взгрустнулось пожилому господину, потому что у него-то в кармане было именно то, чего все здесь так жаждали. И было у него «этого» столько же, сколько бывало и обычно, но теперь больше, чем требовалось... И угнетало его обстоятельство, что сложная задача требовала решения, а решения этого не было.

Уже он собрался идти, и стало еще печальнее — раньше для этого дня был у него совсем другой маршрут, а сегодня — оставалось идти домой или куда хочешь, а не хотелось никуда, уж домой в особенности. Он стал придумывать себе планы на ближайшие часы — как он пойдет в ресторанчик, где бывало за долгие годы больше знаменитостей, чем лежит на парижс-

ких кладбищах, и как станет он за стаканчиком вина и чем-нибудь лакомым предаваться воспоминаниям. А на стол ему подаст человек по имени Ренэ, который помнит почти всех приходивших сюда великих и не великих и с которым и пожилой господин сам был знаком многие тысячи дней. Это, конечно, неудобно, когда старый друг подает и наливает тебе вино, которое сам не смог бы себе позволить, да еще и меняет перед тобой тарелки, но ничего — у них скоро будет шанс посидеть на равных и подавать будет кто-то другой.

Но важно не только решить, куда пойти — но и как. Маршрут — это серьезная вещь, если с каждым домом тебя связывают воспоминания. Воспоминания — это давние события, а события — это люди... И хорошо, если эти люди есть еще там, если среди игроков в шары в парке можно встретить знакомое лицо, а рыбак на набережной будет пусть незнакомый — но тот же самый... Сегодня нельзя испортить такое хрупкое в старости настроение. Нежелательная встреча — ерунда. Невстреча или невозможность встречи, о которой напомнить может любая мелочь, — вот что ранит человека все сильнее с каждым годом. Вернее сказать — бережит раны, которых становится все больше и больше...

Тем временем от одного из билетных жуликов отошла пара. Пара — это всегда интересно. Почему парочки интересны старикам, в общем, довольно понятно, но вы с окончательными выводами не торопитесь, даст бог — доживете и поймете сами во всех подробностях, если вы не мизантроп, конечно. А этот господин мизантропом не был, хотя иной, пережив то, что этому человеку довелось пережить, давно мог бы возненавидеть род людской от Адама включительно.

Парочка была в замешательстве, и любопытный (не скроем этой шалости характера, ему присущей) господин прислушался к разговору молодых людей, которым казалось, что сегодня у них невезучий и, в общем, несчастный день.

— ...Все же я что-то не пойму... — сомневался молодой человек, пересчитывая общие деньги, извлеченные из грубоватого бумажника и смешного девичьего кошелька. — Чем так плох концерт, который будет в пятницу...

— Милый, но на него мы все же могли купить билет, а ты замешкался, вот его и увели у нас из-под носа!

— Да, но это были дорогие места. А я точно знаю, что настоящие ценители дорогих мест не берут. И ты заметила — все, кто не добыл билетов на четверг, ушли с кислыми физиономиями. А значит — в пятницу концерт почему-то хуже. Ты же достойна только самого лучшего!

— Милый, спасибо тебе! Но, знаешь... это было бы дешевле, чем покупать теперь билет на сегодня у этих типов... — она сморщила гримаску, очень точно изобразив одного из спекулянтов, — а мы и тут замешкались, теперь у них ничего и вовсе нет...

— Я обожаю этого скрипача не меньше чем ты, моя радость, хотя и понимаю в музыке не так много... Уже увидеть его — для меня большое событие. Но ты же знаешь, если я сталкиваюсь с загадкой, я буду терзаться до тех пор, пока ее не раскрою. Поэтому я и задумался...

— Так мы уже разгадали эту «загадку». В пятницу Рыцарь не дает бисов. И концерт заканчивается на полчаса раньше. Только и всего...

— Я не большой знаток, но, может быть, бисы — это и есть самое главное? А кроме того, остается вопрос: в четверг — бисы есть, а в эту пятницу их не будет. И никогда не бывает. Почему?

— Ну... Может быть, он просто устает. Ты знаешь, кстати, что для него каждый концерт — это подвиг! Он ведь в детстве попал к педагогу, который разглядел в нем талант, но не обратил внимания, что Рыцарь — физически далеко не Паганини... В том смысле, что для скрипача у него очень короткие руки... И в самом раннем детстве Рыцарь правую руку переиграл... Для него каждый взмах смычком — это просто физически больно! И к концу недели он, конечно, уже не так свеж, как в среду или в четверг... Вот и хочет доиграть поскорее.

— Может быть... Но только знаешь... Я видел его лицо на афишах и по телевизору. Это не тот человек, который дал бы боли взять верх над собой! Его характер виден каждому, у кого хоть немного зрячая душа!

Господин с интересом поджал губы, скрывая улыбку: он заинтересовался разговором этой пары с первого слова — сначала ему было лю-

бопытно, потом смешно, а затем стало радостно: и Он, и Она очень ему понравились. Она красива, но не избыточно, ее приятная красота не подавляла ее естественности и простодушия. А Он был простодушен, но не беспечен, и внешне тоже хорош собой, но, похоже, никогда об этом не задумывался. Глаза у Него были умные и цепкие — интерес старичка Он не пропустил и сказал своей спутнице, ничуть не повышая голоса и не давая понять, что заметил чужое внимание:

— ...Пожалуй, нам стоит покинуть место, где нам не повезло, и придумать по пути что-нибудь попроще, а удачу здесь ловить в другой раз. А?..

...Пожилой господин был очарован Его словами. «Каждый, у кого хоть немного зрячая душа...» В конце концов — почему бы не разыграть этих милых детей да и не посмотреть, насколько этот парень на самом деле сообразителен, и правда ли, что у них зрячие души. Сказать такое — это одно, но вот обладать такой душой на самом деле... «Вот и посмотрим!» — ехидно подумал господин и словно сам себе строго изрек:

— Предполагать, что Рыцарь берет в руки инструмент и думает, как бы поскорее положить его в футляр, — по меньшей мере неуважительно. И никакие болезни тут ни при чем. Все дело именно что в секрете.

Молодой человек хотел удержать свою подружку от разговора с посторонним, но тот, кто сумел бы без явной грубости противостоять женскому любопытству и в этом преуспеть — ну нет, такой человек не родился еще, и будем надеяться, что родится нескоро. Пусть наш мир до самого конца вертится в одну сторону. Она рванулась к пожилому господину и спросила, глядя прямо в глаза незнакомому человеку:

— Месье, вы говорите — «в секрете»! А вы, может быть, даже знаете этот секрет?

— Я? — неторопливо вытаскивая из кармана пиджака сигару в металлическом футляре, переспросил месье, как будто призадумавшись, верно ли будет то, что он собирается сказать. И вместо ответа покачал головой и достал старые и очень теперь дорогие карманные часы с сигарной «гильотиной» вместо брелока. «Каз-

нив» извлеченную из футляра сигару, он утвердил ее во рту и стал искать по карманам старую, но очень аккуратно использовавшуюся последние лет тридцать пять железную бензиновую зажигалку.

Тут заинтересовался и друг любопытной красавицы. Он ни слова не сказал и только всмотрелся в глаза старика, когда-то ярко-голубые, а теперь становившиеся с каждым годом все яснее и прозрачнее. Старик такое поведение молодого человека понравилось. Он раскурил сигару, и глаза его предательски прослезились — любимый некогда табак стал уже крепковат. Моргнув пару раз, он «подсушил» глаза и поиграл сигарой во рту как бы в задумчивости.

— Да, я этот секрет знаю, — заявил он утвердительно и добавил. — Именно поэтому я всегда в дни концертов Рыцаря освобождаю вечера от других дел. И билеты у меня всегда есть. И на четверг, и на пятницу. На четверг — два, а на пятницу — три.

— Так вы ходите на концерты по четвергам в обществе какого-то искусственного меломана, а в пятницу берете с собой менее взыскательных приятелей? — уточнил молодой человек.

— Вы сами себе противоречите. Если у концерта в пятницу есть секрет, то зачем мне брать с собой тех, кто ничего не понимает? — отвечал месть с ехидной улыбкой.

Если бы девушка начала расспрашивать его, стараясь продемонстрировать свое очарование и тем самым от этого очарования сразу избавившись, или молодой человек буркнул бы «Что-то я вас не пойму» или нечто в этом роде, старик действительно развернулся бы на каблуках и отправился к Ренэ без промедления. Но двое слушали его как зачарованные.

Ах, как это важно — трепетно относиться к тайнам и секретам! Никогда не пытайтесь вести себя с ними как с кроссвордами или прочими газетными задачками. Они никогда не покажут, насколько вы умны — скорее, измерят степень вашей глупости. Тысячи настоящих тайн рядом с вами остаются нераскрытыми именно потому, что вы предпочли их не заметить. Тайну или секрет надо еще сначала найти, наткнуться на них озадаченно, проникнуться их глубиной, потерять из-за них покой,

поверить в их чрезвычайность. Если вы предпочитаете готовую загадку с напечатанным вверх ногами ответом — вот вам ваш выигрыш, вернее — проигрыш, равный стоимости жалкой газетенки, и живите скучной жизнью на всем готовом.

Но перед этой девушкой и ее женихом стояло много настоящих загадок, главными из которых были друг для друга они сами. А освещенные мягким мерцанием таких тайн, все остальные тайны тоже становились преисполненными важности. Старик улыбнулся — даже не им, а себе самому, что-то вспомнив, и полупшепотом сообщил:

— Это действительно секрет. Но секретами не разбрасываются. Их разгадывают. Или кто-то может вам их раскрыть, если вы будете вести себя правильно и сами приложите некоторые усилия.

Эти двое стали еще приятнее ему, потому что продолжали молчать и только смотрели на него, как дети на фокусника, которые верят, что кролика можно достать из пустой шляпы, а человек, уходя в таинственный черный шкаф, на самом деле исчезает и полудетая красотка появляется на его месте благодаря волшебству. Старик сжалился. Да и невыносима была мысль о том, что сегодня вечером такси отвезет его в огромную пустую квартиру, где ему нужен только любимый уютный уголок с торшером и радиоприемником возле диванчика. Ведь и в этом уголке ему будет невыносимо, если опять, разбередив душу, будет страдать он бессонницей. Снова придется ему переживать свою долгую жизнь, и некоторые дни будут в измерении памяти гораздо длиннее и мучительнее, парадоксально уместаясь в несколько часов, предназначенных для сна... Упадет его душа в мутную воду событий, которые теперь кажутся совсем иными по значению, и нырнет оттуда в толпу людей — живых и уже не живых... Но эти двое помогли, и нашлись решения, которые он искал.

— Как раз теперь, — таинственно прошептал он, — у меня есть одно важное дело, которое я просто не в состоянии отменить. Я просто изведусь, если не сделаю его именно сегодня. Но

есть одна загвоздка. У меня в кармане пиджака спрятано то, что не должно пропасть. И вам везет! Берите. Это билеты на сегодняшний концерт.

Молодой человек так и стоял с мятыми денежными бумажками в руке и попытался отдать их старику, но тот властно вложил ему в ладонь конверт с двумя билетами и махнул освободившейся рукой.

— Это не продается! Видите ли... Эти места — особенные. Рыцарь обязательно посмотрит в их сторону. Если именно эти два кресла окажутся пустыми... О, он будет очень расстроен!.. Но его глаза уже не те, и он не разглядит, кто именно их занимает.

— Но, может быть, капельдинер посадил бы туда кого-то другого... — предположила девушка.

И старик произнес со строгой определенностью:

— Ни один капельдинер не посмеет посадить на эти места людей, у которых нет таких, особенных, билетов. Если у него хватит на это нахальства, то будет уволен еще до антракта. Вас проводит к креслам сам старший администратор. У его окошка будет столкновение, но он лично проверит, все ли благополучно именно на этих местах. Возможно, что он удивится, увидев вас, но я подчеркиваю, что эти билеты совершенно особенные.

— А если он спросит, кто мы такие и откуда у нас эти, как вы сказали, особенные билеты? — испуганно перешла на такой же, как у старика, шепот девушка.

— Вы ответите ему просто. «Месье, которого вы знаете, — скажете вы, — выбрал нас, чтобы занять эти кресла, и помните — главное, чтобы Рыцарь не расстроился!» Тогда он может спросить, отчего же месье не пришел сам. Вы ответите ему, что главное — уговор, а месье, к сожалению, не может сегодня соблюсти все условия. И к тому же он очень серьезно готовится к завтрашнему вечеру! И больше никаких вопросов не будет. Если будут — просто не отвечайте. И все. Он тут же оставит вас в покое. Через час зал откроется. Приходите с таким расчетом, чтобы после второго звонка вы уже сидели на этих местах. Я очень рассчитываю на ваш такт и проницательность. Погу-

ляйте пока неподалеку, а мне, с вашего позволения, уже хотелось бы откланяться.

Двое остались в полном — и радостном — недоумении. Они выпили по бокальчику дешевого вина в кафе неподалеку — чего бы уж точно не произошло, и не только в этот вечер, если бы им пришлось отдать старику положенные деньги. С первым звонком они направились ко входу в зал, капельдинер лично проверил их билеты и тут же уставился на молодую пару с подозрением. Он попросил «минуточку подождать», и почти сразу рядом с ним после странного взмаха его руки появился важный мужчина в круглых очках под сросшимися бровями. Не дожидаясь вопросов, молодой человек сказал:

— Месье, который хранит уговор, просил передать, что эти кресла непременно должны быть заняты. Вы же не хотите расстроить самого Рыцаря?

— Да-да... — замялся важный, но спросил:

— Я надеюсь, месье здоров?

— Вполне... — начала было девушка, но молодой человек со слегка преувеличенной суровостью перебил ее:

— Месье просил только напомнить вам, что уговор есть уговор. И его условия должны соблюдаться неукоснительно!

— Прошу прощения, разумеется, это именно так. Я слишком много болтаю. Позвольте я вас провожу.

На лице все еще с любопытством разглядывающего их капельдинера подозрение сменилось на подобострастие.

И напыщенный мужчина в очках лично проводил их к двум великолепным креслам в седьмом ряду, чуть левее центрального прохода. На креслах уже лежали программки, которые другим приходилось покупать.

Прозвучал второй звонок.

И капельдинер, и администратор словно упорхнули куда-то. Восторженные и немного напуганные, девушка и ее спутник не заметили, как возле левой кулисы слегка пошевелился занавес и из-за его края скользнул по их креслам внимательный взгляд.

\* \* \*

Ресторанчик, хотя и небольшой по размерам, отличался от прочих тем, что почти все здесь было старое и настоящее. Посетители здесь были, впрочем, разные и, конечно, не те, что раньше. Очень много иностранных туристов, в особенности американцев. Цены тут вряд ли подошли бы приезжим из стран победнее. Сдержанно кивнув знакомой даме лет сорока с хвостиком незаметно для сопровождающего ее мужчины с атлетической фигурой, господин одними губами проговорил ей, благо мужчина смотрел в другую сторону:

— Ах ты, проказница! — и подмигнул.

И получил в ответ волшебную улыбку, а сидевший напротив дамы атлет просиял, по глупости думая, что улыбка эта предназначалась ему. Месье тоже улыбнулся — и не без озорства.

Вечер начинался, вопреки всему, не так и плохо.

Он уверенно пошел к столику, свободному, несмотря на то что ресторан был полон. Похоже, что не только кресла в концертных залах, но и столики в ресторанах для этого пожилого человека полагались особенные. Да так оно и было, хотя внешне он не казался богачом: пиджак на нем был не новый, под пиджаком — рубашка, тоже не первый раз надетая, хотя все было очень аккуратным и чистым. Справа возник высокий и худощавый Ренэ, сохранивший, несмотря на возраст, осанку и статью.

— О, кого я вижу! Кобра?! — тихо проговорил он с трогательной улыбкой. — Я так и подумал, что сегодня надо придержать твой столик.

— Черт тебя подери, Ренэ! Ты всегда угадываешь все наперед... Нет бы сказать: «А что же ты сегодня не пошел на концерт?»

Ренэ покачал головой, хотя официанту в этом ресторане так вроде бы и не положено:

— Мы давно знакомы, Кобра. И причину я понял, не заглядывая в газеты... С тобой я предпочитаю говорить без обиняков.

— И что с того?

— Прости. Я предположил, что ты сегодня не захочешь расстраивать Рыцаря. Но как же ты вышел из положения?

— Погоди с этим! Действительно, именно это

вышло довольно занятно, — к старику вернулся его внезапное хорошее настроение.

— Что тебе подать, Кобра?

— Попроще, покрепче, побольше.

— А что — покрепче?

— Что действительно покрепче! И давай придумаем, как удалить отсюда этого огромного болвана, который уселся напротив моей Акробатки! — такое прозвище было у «шалуньи», с которой старик обменивался улыбками.

Тут уже усмехнулся Ренэ.

— Понял... Не повезло парню!

Пока Ренэ изобретал, что будет есть и пить его старый друг в приятной компании и как избавиться от ее спортивного чичисбея, старик рассматривал ту часть публики, которая могла быть ему знакомой. Откровенно перемигнувшись с «шалуньей», он нашел глазами примерно своих лет господина, совершенно ему не знакомого и неприятного, затем знакомого, но тоже неприятного — бездарного художника, умудрившегося заработать кучу денег на перепродаже чужих полотен на черном рынке сразу после войны, и не удостоил его даже кивка, потом подумал, что, пока вернется Ренэ, ему станет совсем тоскливо... но тут и пришел Ренэ.

Он принес очень старую бутылку и старинную посуду. Старику здесь подавали исключительно на блюдах и в бокалах, сохранных Ренэ с очень далеких теперь времен. Месье взял в руки пузатый сосуд для коньяка и подумал, скольким знакомым доводилось пить из него... Большинство тех, кто целовался с краем этого бокала, уже нет на свете. Хотя жив же он сам — а ведь и ему не раз приходилось братья за круглые стеклянные бока этой посуды — этой самой, точно. Мысль о том, что можно даже выпить с самим собой, но на несколько десятков лет моложе, его развеселила. Выпить с тем собой, который впервые взялся за эту стеклянную сферу, когда «шалуньи», что сейчас ворожит перед шумным атлетом, еще не было на свете. А ведь случись ему встретиться с ее матерью на пару лет раньше, она бы могла звать его папой... Но тогда бы не случилось нескольких других приятнейших приключений, двумя десятками лет позже. А еще наверняка к этому бокалу прикладывался и великий Мануш в только что пощи-

том дорогом костюме, из-под которого торчали нелепые красные носки.

Он поперхнулся — не от крепости напитка, а от смеха при этом воспоминании. Где же он впервые встретил этого сукина сына? На каком-то балу в овернском стиле? Или в кинотеатре? И как потом сестра Мануша выпросила у него половину пластинок этого великого бродяги, отбирая те, что «с белой собачкой на этикетке»? Не надо было отдавать... Или надо? Да зачем они ему — он и так помнит каждую ноту. Что значит «помнит»? Эта музыка почти всегда звучит у него в душе...

Старик снова засмеялся: Ренэ шепнул что-то на ухо «спортсмену», и тот вдруг опрометью бросился на улицу. Обиженная Акробатка (ее фигура и рост совсем не подходили к прозвищу) заскучала за своим столиком, и старик запросто поманил ее пальцем. Та снова расцвела и поплыла к столу старика, а легкая ткань платка на шее взметнулась, словно шелковое облако догоняло ее по воздуху.

— Ай-яй-яй! Негодница... Стоит мне упустить тебя из виду...

— Ну тебя, Кобра... Если тебе что-то не нравится, ищи подружку в Лурде!

— Прекрати. Если я очень захочу, найду и в Лурде, причем с десятком. Я не про твоего очередного болвана. Сегодня четверг!

— Так поэтому я и... Ой, прости, Кобра. Но я не думала, что ты захочешь взять меня с собой.

— И не думай так никогда. Но сегодня ты мне понадобишься, как это у нас обычно бывает. Или ты утомишь меня настолько, что меня оставит в покое моя бессонница, или — сделаешь эту бессонницу приятной. А пока — мы с тобой выпьем.

— Я надеюсь, не шампанского? Я шлюшка с высшим образованием и художественным вкусом — так что не требуй от меня изысканных манер!

— Ну, конечно, нет! Мы будем пить то, что или уж совсем лишит меня сил, или удвоит их!

Ренэ не удивился. Он хорошо знал старика со странным прозвищем и покачал головой, уже зная, что красотке сегодня домой не попасть и завтра придет она в себя только к полудню. Ему не хотелось думать о том, что

однажды Кобра все же сдастся. «А ведь случится это однажды... Но не сегодня!» — сказал он сам себе шепотом. Старик еще хоть куда. А что проказничает — так это ничего. К нему никто не в претензии... И та, которой уже давно не бывает за этим столом, тоже не была бы... Уж такой он неугомонный, Кобра — само жизнелюбие. А с виду и не скажешь.

А сам Кобра распорядился подать ему телефонный аппарат на длинном шнуре и позвонил куда-то. Из трубки ему говорили, что тот, кого он позвал, очень занят. Но старик сказал всего три слова — неизвестный «занятой» немедленно освободился и получил от Кобра какие-то разъяснения.

А плохо было только неудачливому поклоннику Акробатки: этот «спортсмен» на улице рыдал над крылом дорогой и действительно спортивной машины, на котором какая-то сволочь от души выдрала по краске гвоздем «Sal Ped». Атлет тоскливо проклинал себя, естественно, не говоря при этом ни слова, а мысли в его голове были противные, и, казалось, он ощущал, как они скользят по извилинам его сжавшегося от страха и гадливости мозга: «Ну надо же! Только один раз попробовал, исключительно ради эксперимента, и ведь не понравилось совсем! А какая-то сволочь уже знает и уродует машину!»

Ренэ осторожно выглянул из окна, поправил штору, прикусил рукав, чтобы не расхохотаться, и дал двадцать франков за выполнение ответственного задания новенькому официанту, которого сам лично подобрал два года назад в одном кафе неподалеку. Тот улыбался шире ушей. Оба не выдержали и расхохотались в полный голос над мускулистым повесой. Скрыть подобное «приключение» от парижского официанта! Мечтатель!

\* \* \*

Когда отзвучал последний, очень нехарактерный для бисового исполнения номер — аллегро из первой скрипичной сонаты Энеску, девушка достала платок и прижала к глазам. Ее спутник

потрясенно глядел на невысокого роста, коренастого и короткорукую человека во фраке, который в последний раз поклонился и ушел, баюкая в руках несравненный инструмент Джузеппе Гварнери, сделанный в 1741 году.

Девушка забыла, как нервно хватала своего восхищенного спутника за руки, когда тот пытался захлопать в ладоши между частями скрипичного концерта Мендельсона ми-минор. Она быстро, шепотом, в коротких паузах научила его вести себя в этом зале. Молодой человек совсем запутался — он не знал, когда заканчивается часть, а когда целое произведение. На всякий случай он стал аплодировать только следом за другими слушателями, и так ему стало спокойнее — он просто слушал, слушал, не думая о том, когда же потребуется дать труд ладоням.

А Рыцарь, который не очень хорошо видел, но зато лучше всех слышал, прекрасно понял, что на двух особенных креслах сидят не те люди, которых он ожидал. Поэтому и бис сыграл такой, казалось бы, неподходящий, что многими было с удивлением отмечено. Он все понял. Этим двоим нужно было сыграть именно что-то подобное. И, вслушиваясь в шелест зала, подумал, что тот, кому положено соблюдать уговор с другой стороны, все сделал правильно. «Кобра — молодец... Но что будет завтра?» И тут его позвали к телефону.

\* \* \*

Он и Она выходили из зала в фойе, еще не придя в себя, не сказав друг другу ни слова. Они только крепко держались за руки, как дети. И, думая о том чуде, которое только что происходило на сцене, не понимали, что на самом деле думают друг о друге.

Тут-то к ним и подошел капельдинер, засомневавшийся перед концертом, вправе ли они занимать те самые особенные кресла. Теперь он показался им не лысым и подозрительным человеком в годах, каким и был на самом деле, а неким таинственным посланцем — кем он тоже был на самом деле.

— Мадам, месье... Вам просили передать вот

это, — сказал он и незаметно сунул в руку Емю программку концерта.

— Спасибо, месье, но у нас уже есть, — словно в лунатическом сне произнес Он.

— А вам говорят — берите! И не забывайте, что уговор соблюдается до конца!

И капельдинер исчез.

На программке было написано от руки прекрасным пером и дорогими чернилами:

«Жду вас завтра на тех же местах — непременно. Билеты получите согласно уговору». Подписи не было.

\* \* \*

Под утро Акробатка уснула, свернувшись как кошка на углу огромной кровати. Будь кровать поменьше — это бы у нее не получилось. Затем, когда сон окончательно захватил ее в свой плен, она выпрямилась и бесстыдно, очаровательно раскинулась, обнаженная, чуть перезревшая и прекрасная. Кобра лежал рядом, опираясь на локоть, разглядывал линии, тени, плавные дуги, составлявшие образ ее тела при свете ночника.

«Красавица... — думал он, скользя глазами вдоль этого чарующего кружения. — Кто бы и что ни говорил, но музыка — это всегда женщина. Недостигаемая и потерянная, покоренная или неприступная, вожденная или вождедующая... Если быть до конца честным перед собой, то приходится признавать — вот это и есть источник любого вдохновения. Те, кто говорят, что музыку человеку диктует Бог, — правы, но всегда недоговаривают. Бог для вдохновения создал женщину, учитывая первый опыт. Мужчины нескладны, их анатомия смешна... местами. А вот она — совершенство. Совершенна была и та, место которой заняла эта львица. Но по-другому... По-другому. Сейчас мужчины обабились, а женщины занялись новомодным уродством — культуризмом. Скоро между полами не станет никакой разницы... Впрочем, мне то же самое говорил когда-то отец. А как возмущалась мать, когда Коко Шанель разорвала корсет по полам... Видела бы она купальник «бикини». Ну а что ж они сами, сотворяя в этой же кровати меня, о приличиях рассуждали? — он усмехнулся и снова загрустил. — Мать была так же обна-

жена и прекрасна... И явно у них обоих на уме не было никакой газетной чепухи. И даже книжной ереси».

Приемник, похрипывая, выливал под свет ночника голос великолепной Жюльетт «Раздень меня!», а затем программу продолжила ее же песня «Говори мне о любви». Тут он не выдержал и протянул к спящей руки, и через минуту она уже улыбалась и притворно мурлыкала, что хочет спать, но где там...

Они обнимались нежно и крепко — старый мужчина и женщина, которая стремилась использовать последние годы опущенной ей магической привлекательности, не теряя ни одной подходящей возможности. Она целовала его в седые виски. А он вдруг подумал, что мужчина и женщина — их переплетенные тела — это единственное убежище, в котором можно скрыться от всего на свете, от любой боли и от любой тоски... Вспомнил, как застал когда-то жену в объятиях другого. Он тогда не испытывал ни гнева, ни ярости — только страшную боль и незащищенность, как выдранный из панциря черепаха. И всего удивительнее было то, что он совершенно не помнил, как и куда делся тот, другой. Чувства вернулись к нему в то утро, когда он увидел, что жена его рыдает, рыдает так, что он, которому положено было бы избить ее, обозвать шлюхой и дрянью, и другими словами, подходящими к случаю, вдруг почувствовал непреодолимое желание и бросился к ней в объятия. И как потом понял, что в том, что произошло, виноват был только он сам, что ей было страшно — и она искала убежища. Ей срочно требовалось укрыться... Когда хлещет дождь с градом, а уютного дома рядом нет, спрячешься и в грязном отхожем месте. И он даже не ждал от нее просьбы о прощении, хотя она что-то такое пролепетала... Зря, не нужно было, он простил ей все заранее, в тот день, когда увидел ее впервые. И, когда сам потом изменил ей из-за какой-то ничтожной обиды, больше всего боялся, что она узнает об этом. Как они дважды расставались — решительно и навсегда — но, встречаясь через год в первый раз, и через пять — во второй, снова оказывались в этой кровати, и все становилось как прежде... Нет — сильнее, крепче... А потом, когда их разлучила война, он в немецком лагере мечтал о ней и вдруг поду-

мал, добрый ли человек ее любовник. Но так и не узнал этого. Не узнал, кто это был. Хотя ведь был, наверное... Или даже несколько... И потом, после того как ее не стало — сколько же лет прошло? — он мог найти утешение только на груди у другой женщины. Женщина... Жизнь...

Акробатка снова спала. Он отстранился, присел по-турецки, посмотрел на свои колени — уже безвозвратно далекие от бывшей формы, и улыбнулся. Акробатка... Ей идет находиться в этом доме среди красивых вещей. Ей нужны деньги, чтобы подчеркивать свои прелести — сейчас, чтобы создавать иллюзию красоты — понадобятся потом... Изменять будет — да черт с ней. Лишь бы не часто уходила надолго... Дом и деньги? Так не заберет же он их в могилу... Может быть, жениться на ней? Вспомнить бы, как там ее зовут...

Он снова разбудил ее. Она на сей раз была недовольна. Так-так, похмелье. Ничего. Найдем, чем подлечить. Он подал ей бокал, который она осушила залпом и сразу потребовала второй. Пей, милая, не жалко. Да и самому неплохо бы. Что и исполнил с ней вместе.

Они снова слегка захмелели — и снова почувствовали друг к другу нежность, уже без острого желания. Просто — ласковую нежность.

— Робер... — только и сказала она, выразив все одним лишь словом. Она назвала его не прозвищем, прилипшим к нему с сорокового года, а по имени... Он и не предполагал, что ей известно его имя.

— Акробатка... — стыдась, пробормотал он, — ты смотришь так, будто читаешь мои мысли по глазам. Что там в них написано?

— Что ты вызываешь у меня странные желания, Кобра.

— Какие, Акробатка?

— Жюльетт, — засмеялась она. — Жюльетт Пира. И я согласна.

И, серьезно посмотрев ему в глаза, сказала:

— Я буду изменять тебе только днем, чтобы по вечерам мы были всегда вместе. Я буду делать это редко-редко. Или совсем не буду... Но — ты же понимаешь, сразу это может не получиться... Черт тебя возьми, Кобра. Я начну стараться с сегодняшнего дня. Точнее — уже начала. Со вчерашнего вечера.

Каких только странных объяснений в любви не бывает на свете...

\* \* \*

Проснувшись раньше своей подруги, молодой человек несколько минут как можно осторожнее вытаскивал из-под Ее спины свою руку, выплетал ноги из буйного и страстного узла и наконец освободился. Сегодня Он уже не будет таким олухом, как вчера. Она тоже не особый знаток, просто прочла пять или шесть книг и ходила на концерты чаще, чем Он. И, конечно, не на такие, как Он. Но Он не глупее. Он стал искать книги, которые помогли бы ему разобраться, взял одну, потолще. Ничего, разберемся. В конце концов, Ему ведь хватило месяца, чтобы самостоятельно подготовиться к сдаче экзамена по римскому праву. И латынь ему знакома. Тут он сморщился, вспомнив, как бабушка наряжала его в дурацкий, почти кукольный костюм, и восхищалась: «Ах, право, ну вылитый ангелочек наш Юго!» А потом его заставляли петь в церковном хоре, из-за чего он получал от приятелей во дворе и одноклассников тумаки и возненавидел церковь заодно с хоровым пением. Уроки фортепиано также не оставили в памяти ничего полезного, кроме заклинания «До-ми-соль-си-ре-фа — на линеечке, ре-фа-ля-до-ми-соль — между линеечек». Но и эту галиматью он старательно вспомнил и открыл книгу наугад.

Первое, что он решил узнать, это как различать, где пауза означает окончание части, а где — конец всего произведения, чтобы можно было начать аплодировать, не боясь оскандалиться. Но, как назло, нарвался на слово «каденция», или «каданс», что звучало попроще. То, что каденция — это «заключительный мелодический или гармонический оборот, завершающий музыкальное произведение», было вроде понятно, а вроде и непонятно, тяжелый такт, доминанта и субдоминанта основательно напугали, а то, что каденции бывают автентичными и плагальными, привело в ужас. Ультима, пенульта и антепенульта — это еще как-то можно разобрать... Последняя. Предпоследняя, предпредпоследняя... Хоть какая-

то польза есть от латыни вне юриспруденции... Он вздохнул и постарался засунуть книгу на полку, подальше и поглубже.

И вдруг Он понял. После окончания произведения Рыцарь вчера кланялся. Не так, как в самом конце, а слегка, почти одним кивком обозначая поклон. А между частями не делал этого. Ну, по крайней мере, выглядеть совершенным дураком Он теперь не будет. А корчить из себя знатока музыкальной теории и не нужно. Вряд ли Она сама разбирается в этом гораздо лучше Его. Ну, пару слов вернет там, где нужно, смешно сморщит носик, если Он ляпнет что-то невпопад... Это не страшно. Главное, что Она здесь. И что Он никогда и никуда ее не отпустит. Пусть себе умничает. В конце концов, на свой первый процесс, когда Он появится в зале суда в мантии адвоката, когда к Нему будут обращаться «Мэтр», Он ее позовет. Конечно, это будет безнадежное дело — дело какого-нибудь бедняка, которого Его назначат защищать. А Он прежде всего тщательно изучит все ошибки, сделанные полицией и обвинением, приготовит несколько процессуальных подвохов — ведь все университетские знания будут в Его голове еще свежими. Ну и обязательно в конце Он обратится к залу с проникновенной речью: «Мадам и месье! Мало того, что мой подзащитный, очевидно, не виновен ни по одному из пунктов, предъявленных обвинением... Если мы все честно посмотрим внутрь себя, заглянем к себе в душу — мы поймем, что сегодня мы судим не конкретного Жана Дюбуа, мы судим французское общество, закосневшее в преклонении перед деньгами, общественным положением, происхождением, местом работы, маркой автомобиля. А здесь перед нами человек, не имеющий ничего, — и вот он кажется нам будто бы голым. И мы дружно отворачиваемся от него: еще бы, голый — и в общественном месте! А между тем...»

А между тем кофе вырвался из джезвэ на свободу, равномерно распределился по плите, и запах горелой гущи разбудил Ее.

Вместо «Доброе утро, Мэтр!», как Она обычно шуточно его приветствовала, просыпаясь, Он услышал:

— А между тем, если с каждого из нас снять прикрывающую нашу наготу социальную «одежду», не останется нагой только украшающая этот зал статуя Фемиды, а у нее и глаза, между прочим, завязаны. — Она завернулась в простыню и положила на глаза лифчик. — Фемида может только слышать и не может не слышать призыва, издревле сотрясающего стены судов всего мира: «Защиты и справедливости!» Если мы будем откровенны перед собой, то станет нам ясно: мы думаем о защите — но только о собственной, и справедливости, но удобной только для нас самих...

Он сам почувствовал себя голым в зале суда. Впрочем, пусть и не в зале суда, голым Он и был.

— Неужели я говорил вслух? — заставил он себя произнести эти слова с улыбкой, но улыбка получилась какая-то несимпатичная.

— Ты говоришь каждое утро. — Лифчик и простыня отлетели в сторону, Она присела в позе датской русалочки. — Ох, как же мне скучно будет в зале суда на твоём первом процессе! — хохотала она. — Но сегодня было что-то новое. Ультима, пенульта, антепенульта... Новая тактика защиты? Бьем обвинение в обратном порядке?

— Ну, что-то вроде... — ответил Он, вытирая плиту. — Кофе придется подождать...

— А ты пропустил тот кусок, где говоришь о безоглядном следовании устаревшим доктринам...

— Это из моей магистерской диссертации... — вздохнул Он.

— Милый, ты не будешь сердиться, если я кое-что тебе скажу?

— Смотря что ты скажешь, — насупился Он.

— Если бы меня обвинили в каком-нибудь преступлении, я бы попросила тебя...

— Конечно... Но мужья не могут защищать жен...

— Нет, ты не понял. Если бы мы не были мужем и женой, я бы попросила тебя...

— Ну, этого просто быть не может...

— Ну, когда мы еще не поженимся... Ты до тех пор ни за что меня не защищай в суде! Скорее получится, что ты меня будешь защищать на улице от хулиганов. И потом, когда будут судить тебя, я в суде буду убедительнее, чем ты со своим книжным красноречием...

Ой, что могло сейчас произойти... Какие жаркие ссоры возникают из-за неопытности молодых мужчин и невздержанности на язык их молоденьких возлюбленных. Свадьба, запланированная через три года, могла расстроиться уже этим утром, но кто-то незримый и мудрый направил его взгляд на программу концерта, которую вчера им таинственно вручил капельдинер перед уходом из зала...

Страстные, увлекающиеся люди уже тем хороши, что долго гневаться не способны. Он вспомнил о загадочном старике, о таинственном уговоре и тут же прыгнул на кровать и заткнул Ей рот поцелуем, а потом потряс перед Ней программкой.

— А как ты думаешь, кто мог сделать эту надпись?

Она хитро подмигнула.

— Противный очкарик, который проверял наши особенные билеты! Кто же еще? Больше нас там никто не видел. Капельдинер без его приказа так бы написать не посмел, да и вряд ли у него есть ручка с таким дорогим, тонким пером.

— Ничего ты не понимаешь! — снисходительно заявил будущий мэтр. — Администратор тут ни при чем.

— Ну а кто же тогда? — ехидничала она, и было непонятно, говорит это милое и бойкое создание всерьез или валяет дурака.

Он сделал серьезное лицо и торжественно произнес:

— Это написал ОН!

— Ну кто? Кто-кто-кто?

— Рыцарь!

Она тоже набралась серьезности и погрозила пальцем:

— Милый, как тебе идет, когда ты говоришь умные вещи и по делу, а не все эти глупости. «Ультима, пенульта»! — передразнила она. — Я, между прочим, сразу так и подумала.

— А почему же это ты так сразу и подумала?

— Эти вчерашние билеты были особенные. И получить их можно было только от самого главного. А кто на концерте Рыцаря главный? Уж точно не администратор!

— Молодец! Быстро схватываешь!

— Я не схватываю. Я думаю. В отличие от некоторых!

И снова ссора чуть не вспыхнула, но была вов-

ремя погашена уже ею — и на этот раз кофе сбегал опять. Хорошо, что плита была электрическая — они еще долго не замечали вторую кофейную катастрофу.

\* \* \*

Около полудня старик, запахнувшись поудобнее в теплый халат, сам над собой посмеивался. Как все легко и просто теперь... Еще несколько лет назад мучился бы, боялся потерять свободу, возможность менять таких «акробатов» время от времени. А нужны они были ему для того, чтобы забыть тоску по времени, когда у него не было нужды в этих глупышках. Все меняется. И — что удивительно — не только в худшую сторону. Сколько условностей уже не волнуют... И к тому же — она ведь, кажется, говорила искренне. Опыт тут же подсказал: «Сейчас — совершенно искренне. А потом искренне захочет поблудить с каким-нибудь типом вроде вчерашнего автомобилиста». Ладно. В конце концов, с этим ничего не поделаешь. Не маяться же из-за такой ерунды в тоске и одиночестве по вечерам...

— Мадемуазель Пира! — позвал он, заглянув через занавеску в ванной.

— Мадам Кобра! — весело отозвалась Акробатка. — Ты не пугайся, я пошутила! И на слово ловить не буду!

Сколько проворства может оказаться в высокой и крупной, хотя и не полной (пока) женщине! Удивительно!

Она успела выскочить из ванны, вся в пене, подхватить его, отвести к кровати, открыть форточку, в которую ворвался первый холодный осенний ветер...

— Что ты... Что ты? Роби? Что с тобой?

Он медленно пришел в себя.

— Перепил вчера немного. А с утра выпил вина. Так не годится. Налей мне чего покрепче...

Она налила половину обычного стакана, из которого пьют сок, и дала ему отхлебнуть. Остальное допила сама.

— Опять налижешься, куколка...

— Сейчас... Я сейчас...

Она извлекла из своей микроскопической су-

мочки массу вещей, которые легко заполнили бы средний чемодан, пока не нашла таблетки, которые держала всегда при себе «на всякий случай». И тихо сказала себе: «А ведь докрутилась ты, Акробатка...» И внезапно прижала таблетки к обнаженной груди и сказала зеркалу в коридоре: «С ума сошла, чертова потаскуха... Чуть не убила человека...» Вернувшись в комнату, спрятала «покрепче» в буфет, влетела в спальню и заставила старика взять под язык таблетку. «Что же мне с тобой делать?» — думала она, глядя, как приходит в себя Кобра, как розовеют его щеки и обретает ровный ритм его дыхание. «Что же мне с тобой делать?» И вдруг неизвестно откуда прозвучало у нее в голове: «А ведь ты влюбилась, Жюльетт Пира!»

И от этого стало еще отвратительнее. «Ну уж нет. Срочно привести этого героя в порядок, быстро смыться подальше, найти первого здорового мужика, чтобы отодрал как следует и привел голову в порядок!»

А что-то било в виски, мешало дышать: «У него такие же странные, не грубые, но и не холёные руки... И шрам под ключицей... Но шрама ведь не должно быть... Это не он... Да нет — он как раз тот, о ком ты думаешь... Это тот был — не он...» Неужто ты влюбилась, Акробатка? И с этим уже не так легко будет справиться... Что же тебе поделывать с самой собой?

Ну, не причитайте. И не переживайте. Не на чем. Такая дама прекрасно знает, что уж если наступил момент, надо быть решительной. Любовь — как злая собака. Она не кусает того, кто крепко возьмет ее за ошейник. И не отпустит. Поверьте, Акробатка это слишком хорошо знает, и нерешительность, сомнения, воспоминания — это не про нее!

\* \* \*

Рыжий и крепко сколоченный, с мощной шей, сильными и толстыми коротковатыми руками, полуобнаженный человек. Уже не первый десяток раз видел доктор своего великого пациента во время этой процедуры. Тот сидел на табурете у рояля, а массажист растирал ему правое плечо, после того как Рыцарь выполнил послед-

нее из своих ежедневных упражнений — четверть часа сидел в престранной позе, в которой дыхания почти не ощущалось, пульс словно замирал... Но что он творил над собой до этого! Лицо и фигура сидящего скорее подошли бы кузнецу или мастеру средневекового двуручного меча. Сосредоточенный, уверенный, с очевидной могучей силой, но не без изящества, совсем не легкомысленный, но и не без озорства. Черный массажист молча делал свое дело, а доктор про себя думал: скольких его пациентов с таким-то диагнозом после первого же занятия такой гимнастикой пришлось бы везти на кладбище. А этот, если не считать проблем с рукой, впрочем, сугубо профессиональных, даже будь он лет на десять моложе, был бы эталоном здоровья. Но только с виду. Эх, ну если бы он был таким все время — спокойным, неспешным... Не в его возрасте так себя изнурять! В конце концов, глядя, как массажист заканчивает свою работу по назначенной методике, доктор твердо решил перед уходом переговорить... нет, не с пациентом, это было бы бесполезно. С его женой. А Рыцаря просто спросил:

— Ну как сегодня? Удалось мне вас расшевелить?

— Спасибо. Все замечательно.

— Боли по вечерам не усиливаются?

— Нет-нет, все в порядке. Я и позабыл о них.

Простите, у меня нет при себе наличных денег, извольте получить их у моей жены. Она сейчас внизу, в холле, ожидает курьера.

— Благодарю.

Пациент встал и сделал несколько странных движений обеими руками, как будто бы он выныривал из-под толщи воды. Не дожидаясь, пока он начнет одеваться, врач вышел в соседнюю комнату, набросил пальто и поспешил на первый этаж.

— Я прошу прощения... — обратился он к худенькой женщине, просматривавшей бумаги из толстой папки.

— Ах да, месье... Вам причитается...

— Да-да. Благодарю. Все точно, — он убрал в бумажник несколько крупных купюр. — Видите ли, в чем дело... Я не хотел бы давать вам непрошенных советов, но эти странные упражнения, которые ваш супруг практикует... Они, на

мой взгляд — а взгляд у меня опытный, могут принести вреда куда больше, нежели пользы...

И тут же понял, что говорил впустую.

— Месье, мы уважаем ваш опыт и знаем все отзывы о вашей врачебной практике. Мы относимся к вашим рекомендациям самым внимательным образом. Но вам нужно кое-что знать. Мой муж чувствует свое тело очень хорошо, поскольку он сам его сотворил... Нет, конечно, изменить то, что дано природой, невозможно. Но довести эту данность до такой формы, которая совершенно соответствовала бы его работе, может только он сам. Для того чтобы творить, ему нужны два совершенных инструмента: его скрипка и его тело. И как настроить и то и другое, знает только он один...

Врач покачал головой.

— Но силы его тела как раз безграничны. Фантастические возможности его, как говорится, исполнительского мастерства, вероятно, не знают границ. Но вот человеческий организм... Он нездоровый человек! Другого я бы уже уложил в клинику!

Худенькая дама мягко остановила его жестом руки, грациозным, но властным.

— Вы, доктор, к сожалению, не все понимаете. Мой муж лучше всех знает границы возможностей своего, как вы выразились, исполнительского мастерства. Знает, в чем он, безусловно, сильнее других, в чем уступает другим мастерам... Только в его воле и силах достичь наилучшего результата. И ваша медицина лишь часть того, что требуется...

— Да-да, я слышал о его увлечении так называемой йогой, которая — простите — по большей части не более чем фиглярство индийских мошенников и псевдоврачевателей. Уже не раз я сталкивался с людьми, которых это модное увлечение свело в могилу...

— Я вам верю. Но скажите мне, сколько раз вы сталкивались с такими пациентами, как мой муж?

— Разумеется, ни разу — он уникален. Тем более я не могу, сознавая свою ответственность, не предупредить вас, что...

— Большое спасибо. Вы предупредили. И вы не первый. Поверьте, мы очень ценим вашу заботу. И надеемся, что на следующей неделе вы

снова назначите сеанс этого массажа. Он и правда действует очень хорошо.

Доктор пожал плечами. Оставалось только попроситься — что он и сделал, не настаивая на продолжении разговора. Купюры в бумажнике беспокоили его. Они не казались ему заработанными.

А в номере наверху Рыцарь стоял у окна уже в шерстяной вязаной кофте поверх рубашки и смотрел на узоры городских крыш. Он был внешне совершенно спокоен, да и вообще он никогда не давал нервам распускаться. Поэтому сегодня настроение у него было просто печальное. Он снова получил с утра письмо — конверт с листом бумаги: «Предатель!» И фотографию, на которой он пожимал руку Дитриху.

Сколько еще это будет продолжаться... Сколько раз эти люди сначала терпели, потом, когда терпеть было уже невозможно, просили, требовали, умоляли: «Остановите безумие!» Требовали у тех, кто не желал их даже слушать. Просили тех, которые негодовали вместе с ними на словах, но были при этом бессильны. Умоляли тех, кого ни при каких обстоятельствах нельзя было ни о чем просить, тем более умолять, потому что насилие не остановят никакие мольбы. Как люди не могут понять, что нельзя победить чужое безумие — собственным. Безумие побеждает мужественный разум. Ни один сумасшедший еще не вылечил другого.

И неужели то, что он пожал руку Дитриху, могло вызвать у кого-то жажду мести, желание напугать или оскорбить теперь, спустя годы... Люди, учит ли вас жизнь хоть чему-нибудь?..

И тут же вспомнил, что вчера на местах, которые обусловлены уговором, были не те, кого он ожидал. Телефонный разговор успокоил его — хранитель уговора жив-здоров. И сегодня все опять состоится. Но одного человека не будет. И то, что на особых местах были двое, молодые мужчина и женщина, — это сигнал, который не так уж сложно расшифровать. Их время кончается. Но договор должен сохранить силу и после...

Он снова взглянул на письмо. Тот, кто написал эту глупость, сам не понимает, что делает.

Конверт полетел в корзину для мусора вместе с запиской.

Рыцарь сел в кресло и задумался о Дитрихе. Знал он его совсем мало, а о нем еще меньше. Честно говоря, этот Дитрих был совсем не симпатичной личностью. Но Рыцарь знал, что Дитрих совершил в своей жизни три таких поступка, за которые ему стоило пожать руку. Многие симпатичные не совершили даже одного такого поступка.

Однако сегодня нужно выполнить уговор. И значит — нужно настроиться на работу.

\* \* \*

— Скажи, Кобра... А ты знаком с этой певицей? Которая пела ночью по радио?

Старик осторожно пожевал губы, скрывая улыбку, но потом все же ответил.

— Конечно.

— И близко ты с ней знаком?

— Не настолько, чтобы перепутать ваши имена в постели.

— Ты уже это сделал! У нас одинаковые имена, если ты помнишь! — она хоть и улыбалась, но совершенно точно разозлилась. — Мое ты вообще позволил себе узнать только вчера. Или ты и ей придумал прозвище?

Старик прокашлялся. Это хорошо, что она не научилась скрывать своих чувств настолько, чтобы он этого не заметил. Женская хитрость, но не изощренная, обыкновенная... Без нее даже неинтересно. Кобра спокойно улыбнулся ей и покачал головой:

— Нет. Не успел! Просто не имел возможности. Не повезло. У меня ее увели из-под носа.

Она озадаченно посмотрела ему прямо в глаза:

— Увели? Это у тебя-то и увели? Ты врешь...

— К сожалению, я в данный момент кристально честен. Увели. И знала бы ты кто...

— Расскажи!

— Ну... У меня не было ни малейшего шанса.

Старик вынул из стола коробку с сигарами, откусил кончик, чтобы не ходить за часами с брелоком-гильотиной, и, прикурив от настольной зажигалки, выпустил задумчивое облако...

— Знаешь, какой это был сукин сын... — но ли-

цо его не выражало ревности и было спокойным и радостным, словно он вспомнил старого друга. Хотя друзьями они никогда не были.

\* \* \*

За много лет до этого утра американский самолет сделал разворот перед посадкой в Орли. На одном из мест эконом-класса сидел маленького роста чернокожий человек с птичьим лицом. Позади были трудные времена, впереди — неизвестные. Он одного за другим потерял своих учителей. У первого уже нечему было учиться. А у второго, главного, учиться можно было бы всю жизнь. Но смесь грязного героина с выпивкой давно превратили его в свинью. Иногда, когда к нему возвращался человеческий облик, он снова становился прежним, но это случалось все реже, а потом наступил конец.

Странное это чувство. Он осознал, что без этих двоих ему теперь будет несказанно легче. Теперь никто не сможет указывать ему. Да они уже и не могли ему хоть что-то указывать в последнее время. Он стал лучше их обоих. У него здоровья на десятерых таких, как они. Он слышит лучше, чем они, а они при этом умели слушать! Но он пока еще никто. У него нет имени. Его знают тысячи любителей того, что изобрели те двое. Но то, что уже создал он, пока никому непонятно и, по большому счету, не нужно. Но теперь у него никто не виснет на плечах, не стоит за спиной. Одно плохо: ему очень свободно, просторно — и очень одиноко...

Рядом в таком же «эконом-кресле» посапывал устроивший ему эту поездку старина Бад. Он за время пути приложился к бутылке раз десять, выпил еще несколько порций того, что разносила белая стюардесса с надувной улыбкой, и опустошил плоскую флягу из внутреннего кармана пиджака. Вот и спит. Чем заниматься-то?

— Бад, тряхни башкой! Там внизу что-то, похожее на город, куда мы летим. Ремни пристегивай, пьяница! Приехали!

— А? Уже? Очень хорошо. А то через час-другой у меня в кишках и легких началось бы такое...

Что на это скажешь? «Бад, ты скоро сдохнешь, как Байдербек и десятки других до него». А то он не знает...

Самолет стукнул колесами по бетону, все слегка вздрогнуло. Наконец «боинг» плавно притормозил, из открывшейся двери донесся запах чужого заокеанского воздуха. Старый Свет. Здесь даже пахнет как в старом доме...

Он вышел на трап и увидел на балконе аэропорта толпу в несколько сотен человек с какими-то плакатами, которые встречали неизвестную ему большую шишку. Почему-то они вызвали раздражение.

— Бад, посмотри туда. Через несколько лет так будут встречать меня! Понял? Запомни! Тебе осталось только подождать.

Бад пьяненько, кривовато и как-то хитро улыбнулся.

— Дурак ты черный... Чего я там должен ждать?

— Я сказал чего.

— Вот я и говорю, что ты дурак. Они тебя и встречают!

Три дня он не понимал, что происходит. Белый швейцар с орденами на ливрее открывал перед ним двери в отель. В залах публика сходила с ума, выкрикивая его исковерканное имя. После выступлений ему приносили столько цветов, сколько в Штатах не бывает на самых дорогих свадьбах.

Днем он оказался на обеде, который дали какие-то люди в его честь. Он отметил, что, по сравнению с этими людьми, одет просто безукоризненно. Они неважно говорили по-английски, но и сам он говорил на черном английском, и они не всегда понимали друг друга. Бад старался сегодня пить поменьше, «для поддержания разговора», а точнее — «для поддержания жизни». В конце концов, он вышел в туалет, извинившись, и выволок за собой Бада.

— Что это за люди? Зачем я им сдался?

— Они считают тебя гением. Таким же, как они сами.

— А они-то кто?

— Если ты о таких слышал — это Сартр, Пикассо, жена Сартра по кличке Бобер, любовница Сартра — ее имени не знаю, эту я не видел до сегодняшнего дня...

— Так откуда ты знаешь, что она его любовница?

— А на кой черт он потащил бы ее с собой в ресторан?

— Ты идиот. Здесь же его жена!

— Ну и что? Одно другому не мешает.

— Хм... Крутой парень. Сумел вышколить бабу.

— Кто кого вышколил — это вопрос.

«Ну и городок... Хотя, если он тут считается гением, может, ему и положено таскать с собой хоть целый гарем. По местным правилам. Дела...» — подумал он, глядя на Бада с опаской — не опозорился бы хоть в ресторане перед такими людьми...

— А тот хрыч в жеваном пиджачке?

— Он ничем таким не известен. Но я знаю точно, что он друг Джанго.

— Джанго? Того цыгана, который играет на гитаре?

— Да. Но он многих знает. Вообще всех. Это тебе не Нью-Йорк. Это город маленький.

— Ну да, ну да... А брюнетка чья любовница?

— Не знаю. Ну чья-нибудь. Без этого ведь никак. Такие долго одинокими не остаются. Э! Ты запал на нее, что ли?

— Заткнись, Бад. Ты ведь сейчас замахнешь еще этой красной бурды и сделаешь умную рожу, и даже притворишься, что не спишь. А мне умные слова придется говорить.

— Ты себе льстишь. До сих пор не слышал ни одного.

— Так. Сейчас я врежу тебе по твоему брюху, и все эти «Шато» и «Марго» брызнут наружу...

— Не-а! Не врежешь. Ты ведь не станешь пачкать свой костюмчик!

— Только поэтому ты и жив до сих пор. Ладно, пошли, а то еще подумают, что ты обосрался от важности.

— Или что ты. Все-все-все, идем!

— Бад!

— Ну что тебе?

— Пикассо я знаю, это художник. А этот Сартр, он кто такой?

— Ну, ты даешь! Он ну вроде как философ. Пишет книжки...

— Так писатель или философ?

— Всего понемножку.

— А в музыке-то, между тем, волочет не хуже тебя.

— Ну, конечно! Разумеется, раз ему так нравишься ты...

— Ох, дождешься ты, Бад... — только и нашлось слов. Но, в конце концов, Баду он должен был быть благодарен.

На репетиции брюнетка и «хрыч в жеваном пиджачке» появились снова. Но там были и тот же Сартр, и явно «веселенькая» парочка: Жан и Жану, которые смотрелись ну очень мужественно и очень забавно. И еще кто-то, еще кто-то, и еще один месье, и две мадемуазель, и шесть мадам... Он не успевал, да и не собирался запоминать все имена. А вот брюнеткино имя он так и не расслышал ни в ресторане, ни сегодня... А между тем это было единственное слово, которое хотелось сегодня сказать. Ну ничего. Успеем. А пока можно поговорить и без слов!

В перерыве, который возник не потому, что он его объявил, а потому, что просто все разом остановились — остановились, потому что сами не верили, что так можно, что так сыграли они, и совершенно потрясенные тем, что сделал Он, — ему захотелось закрыть глаза и услышать то, что происходило со стороны. Он глянул перед собой — и оказались перед ним глаза этой самой черноволосой женщины. И только тогда он услышал, что он сыграл... Встал, неискренне-беззаботно очутился прямо перед ней и щелкнул языком.

— Вроде где-то вот так. Примерно... Тебя как зовут? — спросил он. Не потому, что, свалившись с небес, огрубел и вернулся в прежний, сердитый и вечно готовый к отпору настрой. Просто сил не было придумать такого себя, который ей бы мог понравиться. Она сказала, и он сразу и навсегда запомнил.

Вечером они лежали, совершенно неразделимые, чуть не плачущие, счастливые...

Потом она высвободила руку и из-под его руки проговорила в телефонную трубку что-то насчет ужина в номер. Он включил телевизор. А на экране телевизора пела... Она, та самая, которая лежала с ним рядом.

— Так ты певица? Тебя и по TV показывают?

— Даже, как видишь, снимают в кино...

— Ну, это само собой... Кого еще снимать им в кино... Ты, наверное, здесь самая красивая...

— Нет, но слышать приятно. Хотя — почему нет? Надо же... А ты еще и галантен...

— А ты думала! — довольно проворчал он и вдруг сделал звук телевизора погромче. Всего он мог ожидать, но чтобы у нее можно было поучиться еще и музыке? А ведь можно... Нет, и правда, странный и удивительный город. И в нем — единственная женщина в мире, без которой он бы не стал тем, кем теперь будет. Не сразу, но будет. Это теперь почему-то стало ясно. Но вот так столкнуться с такой женщиной в первый же день? Странный город. Но замечательный. Его можно любить, даже если ты черный.

Через месяц он умел отличить Сартра от Камю не только по внешности, прочел несколько томиков стихов в переводе и очень удивился — раньше ему не казалось, что стихи чего-то стоят без музыки. А ее он учил тому, что именно Дебюсси сделал первым, объяснял, что Стравинский понял в регтайме и чего не понял, просто и очень ясно рассказал, что самое замечательное в музыке Рахманинова и Сен-Санса. И, уже говоря о себе, настойчиво повторил, как важно, чтобы трубач не «давил» и не «свистел».

— Хотя... — добавил он вдруг — я, в принципе, могу себе позволить делать все что угодно. Но только если это действительно нужно.

Уезжая в Америку, он отказался пить с Бадом. И не стал записывать пластинку «живьем», которая хотя и не содержала бы ничего особенного, но принесла бы ему по инерции несколько тысяч долларов. Вместо записи он провел день с ней. Он умел считать деньги. Но хорошо знал, что они стоят ровно столько, сколько на них написано. И еще — что на них изображены либо люди, которые сделали его предков рабами, либо другие, которые исключительно из меркантильных соображений пожелали дать черным свободу и сделали это пышно, но очень прагматично, «в разумных пределах».

Бад из салона самолета углядел через иллюминатор фигурку белой женщины на пандусе и спросил со смешком:

— Что, наш черный гений запал на белую самочку?

— Заткнись, Бад! Иначе я вылью твою выпивку на пол. Ты знаешь, что я понял с ней?

— И что же ты понял, сынок?

— Сполосни глотку и попробуй сообразить, хотя у тебя это все равно получится с трудом. Я понял... Понимаешь — на свете есть женщина, которую можно любить... как музыку. И даже больше...

Бад выпил, жадно и много сразу, прямо из горлышка, и снова глянул в окошко. Он быстро опьянел, но не поглупел, как обычно, а как-то тяжело, безвыходно загрустил. Меланхолично подергал головой, не то отгоняя мысль, не то помогая жидкости растечься внутри больной головы получше. Потом он сжался в комок, несмотря на довольно высокий рост, и ответил ровным и спокойным голосом, от которого сходили с ума те, кто слушал его со сцены:

— Я знаю, парень... И дай бог, чтобы тебе повезло... Чтобы ты тоже успел сообразить, пока еще можешь. Конец нам всем один, так устроен этот вонючий мир...

— Да о чем ты, Бад?

— Я знаю, о чем ты. Я тоже понял это. Очень давно... И ты сам видишь, чего мне это стоило... Хлебни. Так легче.

— Бад! Бад?!

Спал его друг и плакал во сне. Трубач, который за эти несколько недель сделал огромный шаг, даже не в величие, а в бессмертие, посмотрел на любимого толпой жалкого пьяницу и словно увидел будущее. Он увидел с той ясностью, которой не дают глаза, но которая сама открывается людям в важные минуты: они еще поговорят с Бадом раз-другой — и всё. Рядом с ним летит в самолете мертвец. Собственно, он и сюда уже прилетел мертвым. Некоторое время он еще промучается, но недолго. И все, сделанное им, уже позади. Передернуло. Трубач с птичьим лицом заткнул бутылку носовым платком и сунул Бадю за пазуху. Нет, его собственная смерть будет совсем не такой! Жаль, что ты так и не понял, Бад. Что ты так и остался рабом...

А потом подумал, что насчет раба — это он сгоряча. И хорошо, что эти слова никогда не будут сказаны вслух. Потому что он снова теряет,

но теперь не учителя, а друга. У него мало друзей и было, и будет. На них нет времени...

Как он был еще молод!

На пандусе аэропорта к плачущей женщине подошел человек в новом пиджаке, нам с вами уже знакомый, и понимающе промолчал. Она сама попросила отвезти ее в ресторан к Ренэ, потом напилась, и он проводил ее до дверей квартиры. А потом отправился к себе и долго крутил ручку приемника, и вдруг зазвучала труба этого черного сукина сына. Но Кобра улыбался. Черт возьми, как хорош... Он вернулся к Ренэ один и встретил молодую высокую девицу, мать которой когда-то ему сразу и недвусмысленно отказала. Дочка через три глотка «покрепче» с той же решительностью поступила наоборот.

Дитрих Хольц никак не мог пожаловаться на судьбу. В его партийной характеристике не зря была сделана запись: «Отличный администратор». Эту запись сделал своей рукой его бывший партайгеноссе, который сделал головокружительный карьерный рывок и теперь почти каждый месяц беседовал с самим фюрером! Как же умна Гертруда! Труды с самого начала, как только увидела этого выскочку, начала строить ему глазки, приглашать в дом, устраивать их совместные семейные праздники, заставляла дарить ему по поводу и без повода дорогие подарки. На это уходила десятая часть семейного бюджета. Хольц ревновал, однажды даже ударил жену, но та неожиданно безропотно ответила ему: «Бей меня, Дитрих! Побей, но потерпи... И не трогай лицо! Если бы ты разбирался в людях, ты бы понял, что я для нас с тобой делаю!»

Глупый еще и молодой Хольц дал себе слово: как только у его женушки появится хоть один дорогой подарок от любовника, он ее изобьет. Так, как она в жизни еще не была бита, а потом прикончит. Но подарков не было (то есть они были, но умная Труды прятала их очень ловко). А через полгода он вдруг начал расти по службе. При его неблестящем уме и среднем образовании рассчитывать было, казалось, не на что, но он досрочно получал и звания, и должности, и даже железный крест, хо-

тя ни разу и близко не был от мест, где стреляли. А вот что правда, то правда — он стал действительно образцовым администратором. Все бумаги у него были в идеальном порядке, и все слова в голове были уложены так, что лишнее просто не могло вырваться наружу, а память цепко держала все и обо всех.

Иногда жена уезжала «навестить тетушку», и оба они знали, что «тетушка» носит усики а-ля фюрер и имеет солидный чин. Но Дитрих молчал. Даже когда на бурной пьянке в честь капитуляции Франции «геноссе-тетушка», не заметив его, доверительно сообщил второму человеку в Германии после фюрера, что «лучшая баба — у этого придурка Хольца! Вытягивает всеми способами и умеет выжать все до капельки!».

И это молчание оказалось дороже золота. Труды пару раз съездила «отдохнуть в замок» к тому самому второму лицу. И к другим, когда надоела второму лицу. Но зато Дитрих, когда большинство знакомых офицеров уже мерзли под Москвой и Ленинградом, преспокойно сидел в парижской комендатуре и выписывал ордера на мундиры, на шинели, на отдых на побережье, на квартиры для постоя и еще пропуска. Пропуска в рай перед адом.

А свою умную Труды он даже сильнее полюбил. Ему доставляло странное, ни с чем не сравнимое удовольствие взять ее сразу после возвращения от «тетушки», а потом они обсуждали, какие новые горизонты она раскрыла перед своим мужем в постели его почти всевластного друга. Это стало чем-то вроде их семейного предприятия. Кроме званий и должностей, безопасной службы и великолепного жилья в центре Парижа, появились и деньги! А когда с Восточного фронта повезли первые эшелоны калек, Дитрих начал даже беспокоиться, не слишком ли редко посещает «тетушку» его жена. Еще раньше, когда Труды сообщила, что «тетушка» сбрила ставшие вызывающе нескромными усики, он сразу, не закончив еще и разговора с ней, без мыла отполировал бритвой верхнюю губу. Скромность! Великая молчаливая скромность! И главное — не хотеть слишком многого. Не взлететь слишком высоко! Лучший сыр — в середине круга...

Между тем супруга его проявила удивительное для дочки торговца сыром по-настоящему

мудрое благоразумие. Она сама чуть не силой заставила его (конечно, с соблюдением стражайшей тайны и осторожности) завести французженку-любовницу, чтобы та обучила его новым «штучкам», а он передавал бы ей эту «науку» — «тетушку» нужно было привораживать все новыми и новыми «гостинцами», чтобы не потерять ее расположения.

И теперь довольно часто он переодевался в штатский костюм и с подобранной Труды опытной любовницей осторожно посещал разные парижские притончики и веселые кафе, кабаре и варьете с программами «не для всех». Вскоре через Труды он получил поручение от «друга семьи» — устроить небольшой пикантный вечерок в одном из таких заведений для... Фамилии Труды даже дома не назвала, но показала мужу фотографию из «Народного наблюдателя». Недели не прошло, а он получил в подарок несколько картин, продай которые — и хватило бы на обеспечение старости. Но продавать рано! Да и не нужно! Благополучие семьи росло и так — деньги приносила жена. Ей-то можно было брать без опаски и сколько угодно. Правда, два раза она сама отнесла свой «гонорар» одному невзрачному человеку на квартиру, где тот встречался с такими же, как она, и там без утайки все рассказывала. Зато Дитрих неожиданно получил приказ раздобыть несколько редких вещей и оставить себе... м-м... комиссионные. Потери были перекрыты в несколько раз.

Очередная вылазка в кафе с «дикарской» музыкой и «галльскими курочками», если бы о ней узнали недоброжелатели, стоила бы карьеры (а то и головы) кому угодно. Но не Дитриху. Он частенько встречал на аэродроме самолеты, которые в воздухе сопровождали несколько истребителей. С места пилота выпрыгивали люди, которых корреспонденты «Народного наблюдателя» в Берлине фотографировали рядом с самим фюрером! О том, чего ради эти важные «геноссе» прилетали в Париж, молчали все. Главное было не ошибиться. Труды предупреждала, у кого дела идут плохо, и если такие давали знать, что приедут, и просят «устроить экскурсию», немедленно Дитрих оказывался сверхурочно занят по

службе. А со временем и у него самого появилось удивительно точное чутье. Далеко не все могли обратиться к нему с просьбой об «услуге». Он в своих походах в парижские «заведения» чувствовал себя выше самого начальника парижского гестапо (который, разумеется, был в курсе его походов и с которым Дитрих делился многим, хотя и не всем). Долго нужно учиться быть полезным, еще дольше — понимать, кому можно, а кому не следует быть полезным, и уж совсем высший пилотаж — аккуратно и вовремя переменить отношение к тем, кому быть полезным становилось опасно. С такой женой, как Труды, все оказывалось проще во много раз, а потом он и сам стал не глупее супруги.

Очередная «вылазка» с протеже Гертруды в маленький ресторанчик не должна была стать чем-то особенным. Несколько бокалов вина (о, Дитрих мог выпить хоть ведро, не утратив своего уникального чувства опасности!), вульгарные, но очень приятные танцы. Оркестрик играл ту самую «дикарскую» музыку. Все как обычно. Проверил по пути, надежно ли скрыто от недоброго глаза очередное заведение, щедро оплатил знакомого стукача (ох, французы! А еще говорят, что это немцы самые исправные доносители!). И тут что-то случилось с мозгами у такого осторожного человека. Он потерял контроль над собой и понимал это, но не мог разобраться в причине. Нет, он ничего такого неосторожного не сделал, это было исключено! Но вдруг пот прошиб, круглые аккуратные капельки вылезли на наметившуюся плешь. Он чувствовал, что может сделать. И даже хочет.

Может быть, дело все-таки в вине? Нет, голова ясна. Любовница-французженка хороша, конечно, но не настолько, чтобы лишиться из-за нее рассудка. Откуда тогда появилась эта странная веселая тоска? Почему вдруг стало в одно и то же мгновение так весело и так больно? Откуда обрушилась эта непристойная страсть и в утехх с любовницей, и в желании пить? И почему стало вдруг совершенно все равно, что будет завтра? И неясно стало, будет ли у него вообще это «завтра»? Только вернувшись домой, в супружескую кровать, он понял, кто был виноват в его умственном помра-

чении. Ехидный черноглазый гитарист с сомнительной внешностью. Уж не еврей ли? Хотя тут поди определи. Французы все на одно лицо, зашелся он хохотом, понимая, что сморозил глупость, но ему все равно было весело. И вдруг набросился на Труды с такой энергией, что через час она застонала, что больше не может, а придя в себя, вдруг заметила: «Как давно у нас с тобой это не получалось так отлично! Может быть, тебе стоит пить в день по три бокала красного вина?» Вина он выпил. Но повторения этого Труды от него уже в этот день не дождалась. Ему не хотелось. Впрочем, Труды не рассердилась. «Любое животное после совокупления печально!» — отчеканила она как по учебнику, и образцовому администратору стало еще печальнее.

Редкий инструмент работы Джузеппе Гварнери, один из последних, сделанных мастером, совсем не выделялся красотой внешней отделки. Никакого лишнего декора, ничего, кроме звука... Гварнери торопился его доделывать, хотя и не настолько, чтобы испортить. Ему уже не нужны были сотни мелких промеров, дюжина лишних инструментов. Уж тем более не требовались никакие чертежи или эскизы. Он заполнял деревом пространство, зная, где это пространство должно искривляться, где возвращение к той точке, откуда все начинается, как звук соскользнет по верхней деке и даст исключительный звонкий обертон и, забившись внутри скрипичной утробы, заставит кричать не верхнюю, а нижнюю деку. Вот та и даст ровный гул, вот это то гул и понесет звук, образовавшийся снаружи, заставит воздух затрястись нервной дрожью. Торопливость заключалась только в том, что он частенько опускал на верстак руки и думал, пока отдыхали усталые мышцы. Важно было уже не скорее сделать, а успеть... Он сделал деки плотнее и толще, а форму оставил «свою» — вытянутую, полную. Иногда он пробовал скрипки на улице — если зазвучит на открытом воздухе, то не подведет нигде.

Рыцарь смотрел на чудо, лежавшее перед ним, и вспоминал, как впервые прикоснулся к ней — еще не смычком, слегка потерев стру-

ны нежным пиццикато. Как впервые попробовал ее «на голос». И как в тот день ему стало невыразимо грустно. Скрипка отозвалась, как и любая другая. Ничего необычного не было в ее звучании.

Но это, без сомнения, была та самая ex-King Saltar de Londres, позже прозванная «Вьетан». И он знал, кто прежде играл на ней, кто ее слышал... Этот инструмент в свое время принес славу Эжену Изаи... А до него — чаровал ею каждого, у кого были уши, Андрэ Вьетан, по фамилии которого инструмент получил новое собственное имя... До Вьетана, который играл на ней в последние одиннадцать лет жизни, скрипкой владел французский мастер Жан-Батист Вийом, купивший ее у некоего Бенцигера из Швейцарии в 1858 году. Вийом пытался раскрыть ее тайну, но так и не преуспел, хотя и построил точную, казалось бы, копию.

Рыцарь слышал, как звучат другие инструменты Гварнери — The Emilian, Lord Dunn-Raven, не говоря о принадлежавшей самому Паганини Il Canone, у него самого есть «Lord Wilton». И вот несколько лет назад в его руках оказалась эта скрипка. Не сразу с ней удалось поладить. И только спустя три недели он вдруг почувствовал даже подошвами туфель, как внезапно, полностью, без остатка раскрылась ему душа скрипки — и души тех, кто хоть раз сумел добиться от нее такого же доверия...

Может быть, только сам Гварнери знал, что именно этот голос потребуется через полтора с лишним века полноватому человеку с вечной болью в правой руке. И что этот голос заставит любую боль замолчать, унять, как пустую суетность... Или даже знал, кто унаследует скрипку, которой сам он не дал названия, это люди уже после дадут его по имени одного из владельцев — «Вьетан»... Нет. Нет, конечно. Не мог мастер знать всего этого. А кто-то другой мог знать. Сказал ведь даже сам Альберт Эйнштейн, что, слушая игру Рыцаря, снова начинает верить в Бога...

А сейчас ему самому предстоит выбор. Пройдет несколько лет, и нужно будет сказать владельцу: «Передай ее...» И назвать имя. Несколько минут он сидел и перебирал три или четыре таких имени. Но выбора так и не сделал. Но ничего. Пока это может подождать.

Он подошел к дороговому проигрывателю, включил его громко, как всегда делал. Не потому, что плохо слышал, а потому, что прислушивался не к тому, к чему все.

Коридорный, услышав, что звучит из номера прославленного на весь мир, уже давно и без всяких сомнений великого человека, замер. И вдруг довольно подумал: «А ведь у нас с ним общие вкусы! Я всегда думал, что в этом есть нечто большее, чем все думают!» Ухмыляющийся портье, с которым коридорный поделился этими соображениями, так и не понял, что коридорный был в общем-то прав!

Акробатка, то есть мадемуазель Пира, удивилась, с какой неожиданной легкостью Кобра вдруг поднялся и направился в ванную комнату, откуда явился побритый и свежий. Затем он оделся в свой обычный, уже слегка потрепанный костюм и стал чистить туфли.

— Ты куда собрался? — спросила она, еще напуганная его утренней внезапной слабостью. — На концерт тебе еще рано!

Он поманил ее к себе и обнял. Пропустил пальцы сквозь волну ее волос, прижался лбом к ее лбу и вдруг спросил, будто бы просто так:

— Тебе нравится этот дом?

Она поняла.

— Ты все-таки не шутишь...

Она смотрела на человека, который не мог бы дать ей ничего такого, чего у нее не могло бы быть без него. Да у него и нет многого из того, что она давно имеет. Она могла бы больше потерять с ним, чем... чем... И тут она сказала, словно так и должно было быть:

— Я привезу вещи сегодня же. Черт побери тебя, Коб... Роби! Как ты это сделал? Почему мне плохо даже от мысли остаться без тебя?

— Этого никто не мог сделать, кроме тебя самой... Но вещи перевезти ты успеешь и завтра. А сегодня ты пойдешь на концерт. И у тебя будет очень важное поручение!

— На концерт... по уговору? Вместе с тобой?

— Нет. Вместо меня. И еще, тебе нужно будет выполнить очень важное поручение. Знаешь, у меня есть еще полчаса. Свари-ка нам кофе!

И что вдруг стряслось с тобой, чертова акробатка, потаскушка с высшим образованием, председательница трех дурацких комитетов и

продюсер не менее дурацких проектов в области трех различных искусств?

— Роби! Я согласна на все, что ты скажешь. Все, чего захочешь. Но вот что: во-первых, никакого кофе! Никаких «покрепче»! И дай сюда свой ужасный пиджак! И штаны тоже!

Пришлось развязывать шнурки на ботинках, подвергнутых беспощадной критике, плестись за ней в почти голом (и далеком от совершенства) виде, а потом, лежа на кровати под пледом, поскольку «мадам Кобра» распахнула окно, смотреть на такое, от чего можно было повредиться в уме. Или заподозрить, что это уже случилось.

Вчерашняя «Акробатка» колдовала над рубашкой, пиджаком и брюками с утюгом. Не желая спорить, он дал ей завершить эту затею, оделся и посмотрел на себя в зеркало. Ну да. Конечно, это совсем неплохо.

— Но запомни! Ты делала это в первый и последний раз.

В ответ Акр... Жюльетт показала ему металлический футляр с сигарой и с вызовом выпалила:

— Ладно. Но ты обязан доказать мне, что ты мужчина! Этой гадости я терпеть больше не буду!

Он нахмурился. Очень хотелось показать зарвавшейся девчонке ее место. Но вместо этого он просто сказал:

— Конечно, милая. Я и сам собирался бросить.

— Ой, Роби! Не ври мне. Ничего ты не собирался.

— Ну, врал... Немножко. Просто без тебя бы у меня не получилось...

— Это точно. А завтра мы наведем порядок на этом ужасном антикварном складе!

— Ну... Впрочем, теперь хозяйка здесь ты... И все-таки никогда больше не говори мне «не ври»!

— Прости меня... Я не буду...

Странные объяснения в любви бывают на свете...

Кобра стал объяснять, что именно нужно сегодня сделать его любимой Жюльетт, и с тоской посмотрел на сигару в футляре, теперь лежав-

шую в корзине для бумаг. Но потом перестал о ней жалеть. В конце концов, можно даже бросить курить. Если есть для кого.

Рыцарь вспоминал в тот вечер, как впервые увидел веселую физиономию скрипача с ехидцей в глазах. Это было в коридоре телестудии, где он должен был играть на каком-то благотворительном концерте. И первое впечатление от этого не то итальянца, не то француза у него было препакозное. Впрочем, виной тому был не сам «коллега», игравший веселенькие развлекательные мелодии, а чувство страха, которое внушил ему «экс-Вьетан». С утра капризный инструмент не желал держать строй.

Это выводило из себя, на студию он приехал в отвратительном настроении, попытался привести инструмент в чувство, но вторая струна все время уходила примерно на одну тридцать вторую тона, и если это не прекратится, он будет вынужден играть на другой скрипке. А вся его, пусть даже короткая, сегодняшняя программа была придумана именно для этого Гварнери. Он чувствовал себя как профундист, которому вдруг сказали, что придется петь теноровую партию.

И тут-то он и увидел насмешливое лицо. «Чтоб ты провалился!» — подумал Рыцарь и, понимая, что тот никуда не провалится, отвернулся и попытался еще раз настроиться. И вдруг из-за спины раздался звук другой скрипки. Такой же проказливый, как лицо ее хозяйки. Звук немного развязный, не без нахальства и при этом незлой — даже пригласительный. Первые несколько нот музыкальной фразы, известной каждому. Его провоцировали ответить. И времени не отвечать уже не было. Он ответил пиццикато, и вторую фразу из известной темы нахал уже сам начал пиццикато, это был настоящий вызов! «А смычком ответишь?» Ах так? Ну вот тебе!

И тут капризный «экс-Вьетан» перестал показывать характер и выдал завершение второй фразы в своем лучшем голосе, и никуда не поползла струна, и получилось очень даже забавно! Снова заиграла вторая скрипка, и тоже голосом удивительным, и умным, и остроумным, и совершенно беззлобным и беззаботным!

Два старых музыканта из разных музыкальных миров сперва обменивались репликами в этом бессловесном, а потому куда более значительном разговоре, отвечая друг другу шуткой на шутку, комплиментом на комплимент, и вот уже заговорили вместе, как приятели, не боясь перебить друг друга и прекрасно друг друга понимая.

— ...Ну, привет. Что, не ладилось с утра?

— Да, это точно ты подметил, но, похоже, теперь пошло на лад.

— Ладно, брось!

— А давай-ка эту вот.

— В манере тридцатых?

— Ну да!

«Heaven, I'm in heaven

And my heart beats so that I can hardly speak...»

И четверть часа пролетели, а вокруг собралась уже почти вся студия, а они не замечали никого, и только когда тема им наскучила и они захотели перейти на другую, их прервал прибежавший из-за пульта режиссер и закричал: «Умоляю! Господа! Это взорвет аудиторию! Скорее в студию! Вдвоем! Это...» — и сбросил слезу на ковер.

После телевидения они отправились в кабачок, где-то недалеко от дома, где когда-то жил Онеггер, и играли, и изрядно выпили, но не хмелили... К ним присоединились еще несколько музыкантов, а в кабачке, казалось, не было «посетителей», а были только участники этого чудесного загула, и разошлись только к утру.

Это было в пятницу, а днем в субботу, ближе к обеду, жена подала Рыцарю мокрое полотенце, чтобы обмотать вокруг головы, и неожиданно, вместо того чтобы рассердиться, рассмеялась.

— Знаешь! А это было действительно прекрасно! Я никогда не видела тебя таким веселым!

— Ох... Сейчас мне тоже хочется смеяться, но очень уж отдает в голову... — улыбнулся Рыцарь. — Жалко, что это место я уже не найду... И даже телефона у Стефана не взял.

— Боже мой, ну как ты мог! Это было... Ты знаешь, на твоих концертах то, что ты делаешь, понимает от силы четверть тех, кому достаются билеты... А с ним — с ним каждому понятно, что ты гений и что тебе все равно что играть...

— Нет, милая... Гений — уж очень высокопарно звучит. А главное, Стефан — виртуоз, он мастер, и не меньший, чем я. Я дал сотни концертов для солдат во время войны. Если бы можно было сыграть их с ним — от них было бы гораздо больше пользы.

— Ну, ты не очень тут скромничай. Все-таки...

— Все-таки, когда играешь перед тем, кто завтра пойдет на смерть, нужно играть не то, что вызывает придыхание у критиков, а то, что напевала этому солдату мама...

— Ты часто так и делал...

Они помолчали. Точнее — немного поговорили молча, не перебивая друг друга.

А потом Рыцарь сказал:

— Если бы я сидел на одном из этих огромных пароходов перед десантом... Я бы просто хотел услышать твой голос...

А она ответила:

— По-моему, вам стоит записать пластинку! Не для умирающих. Для живых. Долга плачущим никогда не вернуть. А смеющимся его вообще никто не возвращает — им ведь и так хорошо...

И снова они помолчали.

А она настойчиво повторила:

— Запиши с ним пластинку!

Он улыбнулся. Повезло ему. Жена, которая почти всегда права. Это ли не счастье! Впрочем, счастье и в том, что «почти всегда».

— Только... — тихо ответил он.

— Что «только»?

— Только не сегодня! — И он расхохотался, держась за голову, обмотанную полотенцем.

— Да уж... балбесы! — улыбнулась жена.

Только вот как его найти? Позвонить на телевидение? Только и всего... Но звонить не пришлось.

Дитрих в обычном своем состоянии сразу почувствовал бы опасность. Но три бокала вина он проглотил еще перед выходом из дома. Женевьев, его любовница, подлила еще, а потом и вовсе заставила забыть обо всем на свете. И вот они снова в кабачке, и играет этот цыган... Он мог смотреть только на изуродованную руку, которая двумя пальцами создавала то, чего он не мог бы создать, будь у него на каждой руке по десять пальцев. Мануш...

А за Дитрихом уже следили два бесстрастных глаза, и заряжен был пистолет, и не прийти бы Дитриху сегодня домой, если бы вдруг он не подозвал человека в мятом пиджачке и не сказал вдруг:

— Вы знакомы с этим... Манушем?

— С ним тут все знакомы.

— Тогда передайте, что завтра сюда нагрянет полиция с облавой. Тогда его ждет лагерь. И... стойте! Вот. Возьмите! Отдайте ему. Дайте еще кому-нибудь, кому нужно. Это пропуска с печатями и подписями... Только впечатать имя на машинке... Он сможет уехать из Парижа. На любом поезде...

Человек в мятом пиджаке взял бумаги и вышел в уборную. Там он разглядел их при свете лампы и спрятал в карман. Снова вернувшись в зал, он дождался, когда музыканты сделают перерыв, чтобы выпить и перекурить, и сунул трем из них эти бумаги, что-то пробормотав на ухо.

Когда Дитрих Хольц вышел на улицу, кто-то из-за угла тихо сказал ему:

— Спасибо. Не ожидал. У вас сегодня очень счастливый день.

— Вы думаете?

— О, я не думаю... Я это точно знаю. — И собеседник усмехнулся. Дитрих «до Мануша» немедленно подал бы сигнал какому-нибудь осведомителю, а были их сотни, даже тех, кого знал он в лицо, и приказал бы... Но уже звучала в ушах его эта музыка. И странным образом возникали в нем странные слова: «Будем честны, Дитрих... Ты дрянной человек. Ты трус среди негодяев и убийц. Только поэтому и сам еще не стал убийцей. Но тебе стыдно. Тебе мерзостен ты сам. А значит, еще не все потеряно...» И сегодня он сделал первый шаг на дорогу, с которой уже не будет возврата.

— Ты уверен, Кобра, что ему можно верить?

— Нет, Ренэ, не уверен. Но это единственный шанс для Мануша и его брата. И для...

— А если это какая-то хитрость? Если...

— Тогда для этого Хольца никаких «если» не останется. И это будет не просто еще один немец, которого я убил. Этого я отыщу где угод-

но. Мне важно, чтобы он узнал, что это сделал я — и за что.

Пропуска оказались самыми настоящими.

Дитрих передал незнакомцу еще десятки таких. Больше было просто невозможно. Он и так уже ходил по краю. Они оба ходили по краю.

— Ты ходишь по краю! Это уже совсем не то! Так просто нельзя играть! — возмущался Юг, слушая «Ко-Ко» Чарли Паркера в десятый раз. — Это просто конец... Мануш, это просто нельзя играть в Париже!

Мануш прошелся по комнате, выкурил подряд две сигареты. Расстроенный Юг ожидал, что Мануш сейчас скажет: «Увы, дружище... Они сами не понимают, что делают. Они просто убили джаз своими ловкими трюками! Превратили искусство в балаган! Мы не должны...»

Мануш прошелся по комнате, затем снова поставил пластинку и вдруг улыбнулся:

— Черт возьми! Как до него никто не додумался в этом месте переходить в другую тональность? Уж не говоря о том, что он играет на саксофоне почти так же, как я на гитаре! Это же просто великолепно! Я хочу с ним играть!

— Только не в моем клубе!

— Мне все равно где. Он может не согласиться, вот что обидно. Если сейчас, после того что он сделал, я попытаюсь остаться прежним, можно превратиться в старый, скисший гриб с корявой клешней! Это великое будущее... Если б понять, что будет после него! Ведь где-то уже есть такой парень, который знает, как это будет. Или еще не знает, но ищет и найдет!

Юг раздосадованно плюнул в угол.

— Ты сам не слышишь, что это твой похоронный марш?

— Юг, — ответил ему цыган, — ты сказал чушь. Похоронный марш не бывает таким веселым! А кроме того, никто еще не умудрился услышать музыку на своих похоронах! Я бы это поиграл. Вот только как — пока не знаю.

Великий Мануш редко играл в последние месяцы своей жизни. Но если играл, то часто играл именно би-боп.

В 1949 году он слышал, как играет трубач, вызвавший просто переполох в джазовых клубах Парижа. Они не поняли друг друга. И не заинтересовали. Трубач больше всего интересовался своей подругой Жюльетт. Он еще не придумал в то время, какой музыка будет дальше. Хотя уже опередил тех, кто создал би-боп...

\* \* \*

Когда к дому Дитриха Хольца подогнали машину, чтобы вывезти его и супругу туда, что осталось от Третьего Рейха, его жена Трудит пронумеровала чемоданы и ящики. Она тщательно пересчитывала их в квартире, на лестнице, на тротуаре и в кузове. Все было на месте. Исчез только... муж.

Дитрих уже прекрасно говорил по-французски. Он прекрасно знал ситуацию, мог выбрать самый безопасный маршрут для эвакуации. Вовремя распорядился насчет грузовика. Предоставил в помощь Трудит трех солдат. Но вдруг исчез.

Трудит все поняла. Но не стала искать мужа, а дала команду срочно отъезжать.

Дитрих тем временем спустился — сначала на ногах, а потом на спине в винный погреб ресторана, где Ренэ встал над ним и без всяких реверансов высказался:

— Нажрался свинья свиньей и является сюда! Что вы от нас хотите? Уезжайте! Все ваши давно убрались из города, и правильно сделали. Вы что, хотите, чтобы вас повесили?

— Ну и пусть! — хихикнул немец. — Но чур на набережной!

Ренэ чертыхнулся, и ему пришлось уложить совершенно пьяного немца на деревянной скамейке, укрыть старым пальто и ждать, когда же объявится Кобра. «Что с ним делать? Он, конечно, немец. Но, кажется, смерти не заслужил... Пусть разбирается Кобра. В конце концов, это его немец».

\* \* \*

Телефонный звонок застал Рыцаря в ванной. Но этот звонок был настолько долгожданным и таким важным, что жена постучала к нему в дверь и сказала, о чем звонят, но не смогла сказать — кто. И принесла аппарат.

— Здравствуйте, месье! Я надеюсь, что не оторвал вас от важных дел?

— Отнюдь нет, я говорю с вами в совершенно комфортных условиях! Как Марат с Шарлоттой Корде!

— Ну, у меня не такие кровожадные намерения! Позвольте представиться, мое имя Роббер, и я друг Стефана еще с довоенных времен. Стефан стесняется позвонить вам сам...

— Боже мой, да я собрался только что взять штурмом это телевидение, чтобы хоть у кого-то найти его телефон...

— Телефон я уже дал вашей супруге, она завила, что он не потеряется...

— Если ей — то уж точно не потеряется.

— Стефан приготовил вам сюрприз. Он хотел сегодня зайти за вами после концерта...

— Я немедленно позвоню и оставлю ему билеты на лучшие места!

— О, не стоит. Нас будет довольно много. Трое. И один из нас...

— Мне совершенно все равно, сколько вас будет! И слышать ничего не хочу. Это будет наш уговор.

— Дело вот еще в чем... Событие, на которое мы имеем честь вас пригласить, состоится через пятнадцать минут после концерта...

— Ну, я закажу такси...

— Машина будет, и не одна — ваша супруга, разумеется, поедет с вами, и если вы захотите взять своего концертмейстера и еще кого-то — то будут и еще машины...

— А вы еще волнуетесь о таком пустяке, как билеты! С радостью!

Суд над Дитрихом Хольцем мог привести только к одному финалу. Закончиться только одним приговором. В те дни француженки, спавшие с немцами, боялись выйти на улицу — им обривали головы и мазали щеки нечистотами, коллаборационисты еще пока полу-

чали по заслугам, а французы, вступившие в СС, готовились биться за каждый этаж Рейхстага — и этим-то уж точно некуда было отступать. Тем удивительнее было, что Дитриха Хольца никто не судил. Человек в помятом пиджаке сходил в несколько кабинетов, в которые вход был открыт далеко не каждому, — и суд отменили. Этот человек был также единственным, кто пожал руку Дитриху. Не сразу... Но сделал это. Хольц получил из его рук паспорт на непонятное имя жителя Эльзаса, не то немца, не то француза. И уехал жить в Швейцарию. Впрочем, друзей у него и там не завелось.

Спустя девять лет он зашел в неприметную дверь на одной из улочек в Женеве, сказал что-то непроницаемому человеку в очках и черном, как у гробовщика, костюме, и через полчаса курьер доставил из надежного хранилища несколько черных тубусов. Человек, живущий под странным, не французским и не немецким именем, отправился в здание французского посольства.

— Это мне не принадлежит... Это собственность французов. Чья именно — даже не знаю. Просто я понимаю, что это необходимо вернуть.

— Кто вы такой, месье? — спросил атташе по культуре, с любопытством и подозрением оглядывая то посетителя, то картины, которые давно считались безвозвратно потерянными.

— В Париже меня помнят многие... Я Дитрих Хольц.

Атташе по культуре тоже помнил. Еще как помнил.

— Жест, конечно, красивый... Но я вынужден немедленно сообщить, что...

— Очень обяжете. У меня просьба. Одна. Я хочу, чтобы меня расстреляли в Париже...

— Мы не настолько кровожадны и мстительны... (в этом месте атташе явно хотел сказать «как вы и вам подобные», но сдержался). И республике совершенно не нужны расходы по вашей казни и захоронению. Равно как и содержать вас в тюрьме — только лишний расход. Но все же я дам знать по инстанциям, что...

— Вот мой адрес. Я никуда не убегу. В сущ-

ности — я никто, я мертвец. Но хотел бы еще побывать в Париже.

— Только не говорите, что вы хотели бы там умереть!

— Я хотел бы там жить... Хотя понимаю, что это невозможно.

Но через месяц он уже ехал в поезде мимо знакомых станций. Атташе по культуре в толк не мог взять, кому понадобилось пускать во Францию этого фашистского мерзавца. Но он ничего не сказал. За его дядей по части коллаборационизма тоже имелись грешки. Война войной, а деньги деньгами. Нет, конечно, дядя это одно дело, а немец — другое... Но, может быть, и он чей-то «дядя». «В конце концов, это не мое решение», — успокоил себя атташе вечным утешением всех бюрократов мира.

\* \* \*

Акробатка не может превратиться в Жюльетт за одни сутки. Тем более что и суток еще не прошло. И, оглядывая пару влюбленных у билетных касс, она смотрела на молодого человека — как на мужчину, а на его девушку — как на недоразумение. Если бы молодой человек был неинтересен или глупее, чем позволительно, она бы вела себя по-другому. Но он был очень хорош. Не то чтобы Акробатка не понимала, что нужно быть совсем другой, что ей дано поручение и что... Да, черт возьми, и не в парне дело! Ей предстоит так изменить свою жизнь, что напоследок нужно пофлиртовать хоть с обезьяной! Поэтому она и успела заехать домой, чтобы совершенно в духе предпринятой Кобра мистификации — и в связи с «последней возможностью» — придала себе предельно загадочный вид. Распушенные длинные волосы, умелый, хотя уже весьма обильный, макияж, длинный плащ и шелковые перчатки, множество деталей, не слишком заметных сами по себе, но смертельно опасных в совокупности...

Плащ мог распахнуться неожиданным и отработанным движением. Ресницы одним взмахом могли заставить не только глупого мальчишку, а искушенного мужчину потерять

равновесие. Посмотрев на парочку издали, она почувствовала, что Он ощутил ее присутствие, что ей достаточно просто поманить — не пальцем, не жестом, а просто подумать: «Иди ко мне!» — и он пойдет. На все пойдет. Куда угодно пойдет! О, женщина, имеющая такую власть... Есть ли на свете человек более жестокий и безрассудный! Бедные девушки, прячьте своих молодых любимых. Не со зла, не оттого, что разлюбили вас, могут броситься они в этот омут, не этих женщин любят они, и уж тем более — никогда не будут ими любимы... Впрочем, кто сказал «никогда»? Ох, чего только не бывает на свете...

И ведь ни вас, ни любимых ваших не пожалеет женщина на излете своей красоты и власти. Никакой довод не услышит она, если понимает, что еще немного — и не сумеет она больше разрывать пары и превращать мужчин в безвольных мальчишек. Такая женщина хуже чумы, хуже яда, страшнее внезапно вылетающей из-за угла машины с пьяным шофером, обуянным веселой лихостью. Она не думает «а потом — хоть потоп!», она знает о неизбежности этого потопа для себя и не пощадит никого. И ничего. А уж чувств девчонки — ни за что... «Ничего! Полезно знать цену мужчинам!» — думает такая дама совершенно искренне.

Акробатка появилась перед парой внезапно, неожиданно. И отнюдь не без театральности — при других обстоятельствах она бы ни за что не стала действовать настолько просто, придумала бы немало изысканных каверз и коварных деталей. Но увы. Кобра своей невинной шуткой сам проделал за нее всю работу. «Таинственная посланница» — это ли не то амплуа, о котором мечтает каждая подобная *femme fatale*! И ресницы взмахнули, и плащ распахнулся вовремя, и камни украшений блеснули всей своей подлинностью, и голос прозвучал, как будто и не человеческий вовсе. Как хорошо знает цену ему множество мужчин, уже заплативших по самой высокой...

— Итак, вы и есть те двое, которым нужно быть здесь, чтобы соблюсти уговор? — (Ресницы, плащ, улыбка...)

И что против них жалобный, умоляющий голос совсем еще девочки:

— А где же тот милый месье?

— Милая, вам уж должно бы быть понятно, что этого месье просто нельзя встречать каждый день! — (О, этот голос умеет поставить на место... Беспозлезно его умолять, невозможно ничего противопоставить ему, остается только заплакать и признать свое полное поражение. Этот голос будет беспощаден, потому что знает его обладательница, что очень скоро услышит она сама от твоего парня. Знает всю разрушительную силу своих страстей она лучше, чем кто угодно другой, и чем это все кончится, тоже знает. Именно потому беспощадна, бесстрашна и бесчувственна она.)

— Сегодня я буду вашим Вергилием!

— А что, мы идем в ад? — весело спросил юноша. — Если он так же красив, как наш Вергилий, то я согласен!

Отчего же ты, дурачок, не видишь, как беспокойны и робки глаза твоей любимой! Почему ты не можешь понять, что сейчас ты рискуешь навсегда ее потерять, даже если равным счетом ничего не случится! И почему ты уже готов к тому, что может произойти, и даже рад этому? Ах, если бы умели люди учиться на чужих ошибках. Но чужие ошибки — как чужие вещи. Бедные воспитанные дети с детства приучены «не трогать чужого». И из-за этого в роковые минуты готовы присваивать чужое несчастье.

Не смотри на него, милая девушка. Не обижайся, ни за что не показывай своей ревности, укуси себя за язык и попытайся перетерпеть, не дать повода — и, может быть, все обойдется! Но девушки тоже ничего не знают, пока это «что» не случится именно с ними. В этом весь бесхитростный секрет мелодраматической (в самом хорошем смысле этого слова) литературы. Ее читают не те, кто рискует обжечься, а уже обожженные. И пишут — тоже...

\* \* \*

Двое шли по набережной и вполголоса говорили. На кладбищах вообще громко не говорят.

— Как это было, Кобра?

— Он приехал после концерта, заказал себе выпить... А потом упал — и умер. Пока искали врача, который не мог приехать, потому что была суббота, пока... в общем все случилось так, как случилось.

— Брат забрал его гитару?

— О, нет. Она в музее музыки. Рядом со скрипкой Паганини и фортепиано Шопена...

— У них получилось бы прекрасное трио.

— Может быть, где-то так и есть.

— А я думал, что ты неверующий, Кобра!

— Да так и есть... Впрочем, когда имеешь дело с цыганами, разве можно быть в чем-то уверенным?

— Ты и шутишь так же, как он...

— Это правда. После войны именно он вернул мне чувство юмора. Да и не только мне. После этой войны только он мог вернуть людей к жизни. Пойдем отсюда. Не люблю кладбищ. На кладбище придется провести очень много времени, Дитрих.

— И откуда у тебя такое странное прозвище...

— Эх... Встречи со мной для немцев кончались, как встречи с коброй. Только против меня не придумали сыворотки.

— И все же ты — первый человек, который после войны пожал мне руку! Я никогда не забуду этого!

— Ну, ведь не последний. Знаешь, я бы никогда не узнал в тебе того жирненького трусливого подонка, который заходил в наши кабачки...

— Я надеюсь, что он давно умер.

— Это так и есть. Он должен был умереть в день нашей первой встречи. Я пришел тогда именно с целью убить тебя.

— Джанго тебя опередил.

— Он сделал это самым лучшим способом. Убить негодяя и оставить в живых человека — это... Кстати, и того Кобра, с которым ты встретился, он тоже убил. Тот Кобра просто забрал бы бумаги и избавился от тебя двумя выстрелами. Так ведь было удобнее, никаких следов. Но Мануш на меня посмотрел — и я не смог. Он понял, что я собираюсь сделать...

— Когда имеешь дело с цыганом — будь готов к чудесам! Я уже много лет живу в деревне, возле цыган. Ловлю с ними рыбу, сижу у костра по вечерам, начинаю понимать язык...

— Они знают, кто ты?

— Да. Я сам рассказал им. Не про Джанго, конечно. Просто сказал — я был вот таким-то когда-то.

— И что?

— Спросили, убивал ли я. Я честно сказал, что нет. Они побили меня крепко. А потом вдруг остановились. Сказали, что Бог мне судья. И не прогоняли потом.

Никто из этих цыган действительно не знал о пропусках, которые воровал в комендатуре Дитрих, ни о том, что однажды не выдержал отвращения к себе этот «администратор» и спас несколько сотен человек. Просто есть что-то в цыганском взгляде. Они что-то увидели такое, за что оказалось возможным простить Дитриха Хольца. Впрочем, действительно умер давным-давно трусливый «администратор». Не сразу... Но умер. И Робер — «Кобра» — тоже не сразу умер. Но улыбаться он начал раньше Дитриха Хольца. Дитрих думал о себе. Кобра вообще редко думал о себе в те годы. Но нужно было вспомнить, как прощать людей. Не только немцев, но и французов. Он снова улыбнулся, как только стало можно прощать...

Спустя годы Рыцарь сидел в кабачке у Ренэ со своим другом Стефаном, тем самым, которого встретил в телестудии после записи новой пластинки. Они отмечали это событие с другом покойного Мануша. И этот друг со странным прозвищем Кобра представил им седого немца с невесть откуда взявшимися благородными чертами лица, худошавого и грустного. И Кобра вдруг сказал:

— А ведь если бы не Дитрих... Мануш, в честь которого устраиваются эти вечера, погиб бы еще до освобождения. Дитрих и потом два года страшно рисковал. А однажды пришлось ему застрелить своего начальника — и это спасло пятьсот человек. Испугался он тогда. Впервые убил человека. Удалось представить так, что его начальника убили мы. Но... В общем, досталось ему... Людям ведь ничего не докажешь, если они чувствуют себя правыми. И немцы не простили, и французы. Я и сам долго не мог понять, как можно оставлять в живых немца.

И тогда сам Рыцарь без сомнений пожал руку Дитриху Хольцу. А кто-то из туристов в ресторане тихонько щелкнул затвором фотоаппарата и принес обоим немало огорчений.

Мануш так и не смог угнаться за тем черным саксофонистом. И дело было не в технике, не в темпе, не в скорости и причудах ритма. Он привык к другим слушателям. Он привык к тем, кто мог расплакаться, привык к тому, что внезапно из толпы бросалась навстречу какому-то мужчине какая-то женщина и они не танцевали, а плакали, уткнувшись друг другу в плечи. Он привык, что люди, от которых уже никто и никогда не ждал веселья, вдруг начинали улыбаться. Теперь его слушали и сравнивали, ловили фразы, проверяли «на соответствие». «Борьба за чистоту жанра...» Этим и убивают любой жанр.

После очередного концерта он заглянул в магазин и купил на все деньги красок и кисточек, несколько картонов и холстов и на следующий день начал рисовать. Обнаженную рыжую цыганку, лошадей, восходы и закаты. Что-то подсказывало, смутно и тревожно, что впереди осталось очень немного. Ему хотелось, чтобы где-то там, во взлетевшей в дыму к небесам кибитке были картины, которые напоминали бы о мире, связь с которым так не хотелось терять...

— Покрепче и сигару?

— Увы, Ренэ. Сегодня я бросил курить.

— Что, укатала Акробатка?

— Перестань. Просто решил побережь здоровье.

— Что? — Ренэ чуть не уронил на пол далеко не дешевую бутылку. — Ты начал беречь здоровье? А... я, кажется, понял. Наш Кобра добегался!

— Отстань!

— Ну-ну-ну! Я так... Кстати, она совсем не такая плохая, как о ней говорят. Сердце у нее доброе. Она умеет любить.

— Что на тебя нашло, Ренэ? Еще сплетничать начни!

— Как ни странно, начну. Она была страшно влюблена в одного художника, но его у нее увела одна дамочка — при деньгах была и с темпераментом.

— Заткнись! Лучше скажи, ты готов к вечеру?

Ренэ засмеялся. Ох, Кобра, ну если кто и

удивится, что ты можешь стать с годами моложе, то только не Ренэ. Уж он-то знает тебя лучше всех. Он-то побывал с тобой и в подполье, и в лагере, и под пулями.

— Я рад за тебя. Она правда хорошая девочка.

— Если ты сейчас скажешь, «только за ней нужен глаз да глаз!», я...

— Глаз да глаз нужен за тобой!

— Ты о чем это?

Но Ренэ только рассмеялся снова.

— Мадам, одолжить вам программку?

«...Ну, вот ты и попался, мальчик. Ты уже заботишься только о ней, эту бедную девчушку ты и забыл... И как быстро! Так поделом вам обоим. Тебе — за то, что так быстро забываешь о ней. А твоей дурочке — за то, что дурочка. Как можно так влюбиться, настолько терять голову, не думать ни о чем... Но будь умнее. По большому счету, ты должна мне быть благодарна. Женщиной становятся не после того, как в тебя проникнет мужская конечность без костей. Вот когда тебя в первый раз бросят как окурочек, даже как следует не докурив, вот тогда. Тогда ты — женщина. А до тех пор — это все еще детство. Глупое, слезливое и дурацкое...»

«...Как он все-таки еще нелеп. Сейчас начнут шутить, говорить чепуху, будет притворяться, что это безобидный разговор, не более того. Не зли сразу двух женщин, мальчик. Из нас троих только один не понимает, что происходит на самом деле».

«...Да, моя милая. Увы. Он еще даже не мужчина, он мальчик. Такие должны годик побарахтаться в услужении. Он ведь даже пощечину дать тебе не может. На место тебя поставить. Он может только сбежать, бросить тебя одну. И это потребует от него всей храбрости, что в нем есть. Он еще ничего не знает и не видел, просто не зная, что теперь должен платить за все взрослую цену. Найди себе другого... Который уже знает». А Он тем временем увидел, что в программке первый номер перечеркнут и по зачеркнутому написано «Pablo de Sarasate. Gipsy Airs Zigeunerweisen».

— Смотри! Это для нас! — воскликнул Он, об-

рачаясь к Ней, еще не пришедшей в себя, сжавшейся, готовой расплакаться. И Она увидела — что смотрит он только на нее, и не просто смотрит — ничего кроме нее не видит, не хочет видеть... И Она вдруг успокоилась и, забыв, где она и что вокруг сотни глаз и ушей, бросилась к нему в руки, прижалась к его шее, а он растерялся и зашептал: «Что ты? Что ты?»

А она и говорить ничего не могла. Неловко выпрямила ноги и попала каблуком по чему-то твердому и услышала «Ой!» Рядом сидел совсем молодой человек, аккуратно сложивший у перил своего кресла костыли. Чтобы загладить неловкость, молодой человек попросил у хозяина костылей программку:

— Простите нашу неловкость! Не могли бы вы показать нам свою программку — в нашей, кажется, опечатка...

Тот взял, посмотрел внимательно и, вдруг улыбнувшись, сказал:

— О, нет. Опечатки в вашей быть не может. Опечатки во всех остальных.

— Как же это может быть? — пролепетала она.

— Я слишком хорошо знаю этот почерк. Да и вы, судя по местам, которые занимаете, — должны его знать!

Тот, кто это сказал, сам еще не знал, что пройдет время и он будет стоять на этой сцене, держа в руках ex-King Saltar de Londres... И что тот, кто выйдет сейчас на эту сцену, сам решит так, и без единого колебания.

Когда Рыцарь вышел на свое место, сразу бросилось в глаза, что под фракком, кожей и мускулами — нечто потверже обычных костей. Так выглядят люди, которые победили в бою. Здесь — не место для боя, тут праздник, где восхищаются победителем. Бой был там, где не получалось, где было место страху, где казалось, что не получится, где выносили приговоры врачи. Он прошел перед залом такой же походкой, какой выходили на поединки рыцари тысячу лет назад, с тяжелыми двуручными мечами, обретая с каждым взмахом все больше ловкости, и подчиняли себе движения тела и оружия. Он уже скользнул по трем самым важным местам в зале робким взглядом. А когда затихли

звуки Сарасате — все пошло по программе. Bruch. Violin concerto no 1. Это был особый концерт. Рыцарь даже не играл — он вспоминал тех, кого сегодня не могло быть в зале.

Акробатка затихла в своем кресле. Она почему-то представила себе комнату, кровать, ночник и радиоприемник, старика с насмешливыми глазами, который погрозил ей пальцем. Ресторан, в котором Ренэ потянулся было за бутылкой «покрепче», но виновато отдернул руку и ушел за легким вином, и, как бы извиняясь, попросил Кобра подойти к нему «кое-что уточнить»... Знала она, что они там будут «уточнить»... Но пусть. Пусть! Вчерашнее счастье вернулось к ней, и пропал сегодняшний мальчик, пропал и тот, которого она давным-давно так любила, как ей казалось, и незаметно сняла она с шеи и из ушей дурацкие блестящие игрушки... Они нужны тем, кто не любит, а главное — тем, кого не любят... Она смотрела на двух счастливых детей. Потом вдруг вспомнила, что когда-то умела довольно сносно готовить...

В антракте она подошла к Ней, поцеловала ее в щеку и прошептала: «Береги его! И если что — звони. Вот тебе номер! — и написала прямо на программке. — Спроси Жюльетт. Или попроси Кобра позвать жену... Или просто приходи, вот и адрес тебе...»

— Кого спросить...

— Ты его знаешь! Он дал вам вчера билеты...

— Мадам... А кто он?

— Кто он? — Она улыbnулась так, что равна эта улыбка была глубокому и свободному вздоху. И легче стало после нее, и счастье окружило ее теплым облаком. — Это Робер! Это мой муж. Это самый лучший на свете человек. Таким для тебя станет твой мальчик... И не бойся стареть. Вместе это совсем незаметно. И совсем не страшно.

Акробатка умерла. Без сожалений и попыток уцепиться за жизнь. Жюльетт, жене и надежнейшей подруге, было бы уже не до нее.

После концерта, коротко поклонившись в последний раз, Рыцарь вышел в свою гримерную и, быстро сняв фрак и черные брюки с поясом, переделся в штаны с пузырями на ко-

ленях, клетчатую рубашку и пиджачок. Потом он взял бесценный ex King Saltar de Londres и спустился к невзрачному подъезду, у которого уже стояла старая, когда-то очень дорогая машина. За рулем сидел Ренэ. На переднем сиденье Кобра.

— Здравствуй, дружище! Пришлось чуть-чуть задержаться. Я изменил программу. В этом зале тоже нужно было сыграть...

— Я понимаю.

— Он... Давно?

— Неделю назад. Рыбачил на берегу Сены. Я все понял, когда не увидел его на обычном месте. Инфаркт... Он ничего не почувствовал — так сказал врач.

— Сегодня я пожал бы ему руку перед всеми кино- и телекамерами, какие нашел бы...

— Нет, он бы не захотел. Он мечтал просто жить в городе, где нашел покой и прощение... Так он говорил. Но нас ждут.

— Так поехали?

— Нет! Нам нужно дождаться одну машину...

— А, эти милые дети...

— А говоришь, глаза подводят!

— Но ведь не уши!

— Прости! Вот они!

Подъехала и вторая машина, оттуда помахали рукой, и оба автомобиля понеслись куда-то в не слишком презентабельный кабачок. А там — старые и молодые музыканты собрались под фотографией двух музыкантов: скрипача и гитариста, в полный рост, но фотография была черно-белая, старая, и уже никто не знал, почему кажутся не очень подходящими носки, торчащие из-под брюк гитариста... Зато скрипач присутствовал в зале сам. Точнее — два скрипача.

И хотя заведение было не фешенебельным, сюда мог попасть далеко не всякий. Стоявший у входа совсем не похожий на швейцара человек пускал тех, кого знал — и за кого могли поручиться приходящие. А потом дверь и вовсе закрыли изнутри.

А вокруг звучала новая музыка. Она была совсем не похожа на прежнюю...

\* \* \*

Человек в дорогом кашемировом пальто, несмотря на довольно теплую погоду, стоял возле касс, опираясь на костыли, и с любопытством и грустью смотрел на неудачников. В кармане у него лежало то, чего здесь так жаждал каждый. Он знал, что сегодня впервые выйдет на сцену в качестве Рыцаря. Никто не ожидал, что именно он может тут находиться, хотя он смущался. Риск быть узанным оставался. Тогда дело можно считать проваленным. Но особенные билеты непременно нужно кому-то отдать — и ни за что не ошибиться. Он поерзал на костылях и стал внимательно вглядываться в лица людей. Увидев парочку: красивую девушку и молодого парня с лицом, выдававшим арабскую кровь, он инстинктивно сжался, но вдруг услышал:

— ...Я не верю, что человек такой сильной воли может бросать работу на полчаса раньше только потому, что ему тяжело стоять на костылях! Я слышала его! Он просто не мог бы признать, что болезнь может победить... Тут какой-то секрет!

И тогда человек в пальто сказал, как бы ни к кому не обращаясь:

— Костыли, если ты с ними с детства не растаешь, это как пара ног или рук. Нечто среднее, как у обезьяны. — И рассмеялся сам себе. — И даже абсолютный слух ни при чем.

Дело именно что в секрете. И вдруг добавил: — Мне интересно, зрячие ли у вас души... Позвольте кое о чем вас спросить?

Мужчина, женщина и еще одна женщина, старенькая уже, наблюдали за сценой из автомобиля, на котором они привезли Рыцаря сюда. Они ничего не говорили. Как-то само собой было понятно, что теперь только сам Рыцарь может сделать выбор. Они не хотели помешать. Да и помолчать всем троим было о чем. А в ресторанчике, который уже вам известен, пятидесятилетний официант открыл старым ключом шкафчик с посудой, из которой ело и пило больше знаменитостей, чем лежит на парижских кладбищах. И улыбался, глядя, как на экране телевизора разлагольствовал перед журналисткой и строил ей глазки толстяк с широченными плечами. Официант улыбался, вспоминая, какие слова он когда-то нацарапал гвоздем на крыле спортивной машины этого господина, который с горя подался через месяц в политику. Но тут же забыл о нем, потому что нужно было приготовить столик — как в старые добрые времена. Рядом стоял молоденький гарсон, которого он подобрал недавно в одном из соседних кафе. Веселый парень, смысленый. А главное — его зовут Ренэ. Это огромное везение — иметь к подходящим качествам подходящее имя. Через какое-то время и его можно будет посвятить в Уговор... □

### **Андрей Юрьевич ЦУНСКИЙ**

*родился в 1967 году в Петрозаводске.*

*Окончил факультет журналистики Ленинградского университета.*

*Лауреат литературных конкурсов «Art-Teneta-97»,*

*«Art-Teneta -99»,*

*автор двух книг, выпущенных издательствами «Геликон +»*

*и «Амфора».*

*Рассказы вошли в антологию Макса Фрая.*

*Член Союза писателей России.*

